

НОВОСЕЛЫЕ

3

НЬЮ-Йорк

1 9 4 2

NOVOSSELYE

A RUSSIAN LITERARY MONTHLY

Editor S. PREGEL

Editorial and Administrative Offices:

2 EAST 86 STREET,

NEW YORK CITY

Telephone: RHineland 4-1800

СОДЕРЖАНИЕ :

М. А. Алданов. Тьма	3
М. Волошин. Стихи	16
София Прегель. Гном	18
Кристина Франкфурт. Стихи	22
Владимир Бакалейников. Записки музыканта	23
Ирина Кунина. Встреча со Стефаном Цвейгом	29
София Прегель. Стихи	36
В. Александрова. Михаил Зощенко	39
С. Поляков - Литовцев. Австралия	50
М. Железнов. Американские поэты	56
Ю. Бруцкус. Серебряный Бугор	61
Культура и жизнь: Д. Браун. О пятой колонне. — М. С. Александр. Невский. — Ф. Бахтиар Мирза. Первый театральный журнал. — Русские ученые в Америке.	

Обложка работы художницы А. Прегель.

За всеми типографскими работами обращаться:
L. Rausen, 510 W. 150 Street. Phone: AUdubon 3-0310.

НОВОСЕЛЬЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ
под редакцией С. ПРЕГЕЛЬ

№ 3.

АПРЕЛЬ 1942

М. А. АЛДАНОВ.

ТЬМА

Этот ресторан существовал несколько сот лет. Так, по крайней мере, утверждали путеводители: он значился во всех путеводителях, как историческая и гастрономическая достопримечательность Парижа. Случайные туристы редко посещали ресторан, расположенный в далекой от центра, вышедшей давно из моды части города. Прежде в нем преимущественно бывали знатоки из парижан, богатые, титулованные люди или поддельвавшиеся под богатых и титулованных. Наиболее известным своим завсегдатаям ресторан иногда выдавал посмертное отличие: их именем называлось то или иное сложное блюдо, будто бы ими изобретенное. Гостей из года в год встречал старик метр-д-отель, которого завсегдатаи называли по имени: «Альбер». Он показывал стоящим внимания новичкам автографы под портретами на стенах, «золотую книгу», «исторические столы», когда-то созданные его вдохновением или вдохновением его предшественников. Впрочем, он и сам давно верил, что Наполеон часто здесь обедал, притом всегда за большим круглым столом в правом углу. «Стол Наполеона»

Новоселье

предполагалось даже было отгородить цепью, но правление акционерного общества, которому принадлежал ресторан, отклонило это убыточное предложение.

Цены в ресторане и в прежние времена были таковы, что люди, достаточно богатые для откровенности, порою пожимали плечами, просматривая счет. Теперь пожимали плечами решительно все: этого требовал новый хороший тон. Недавно компания немецких офицеров, ценителей всего «Echt Pariser», хотела было даже поднять историю из - за цены «Homard à l'Armoricaïne» (старый спор гастрономов между обозначениями «à l'Armoricaïne» и «à l'Américaine» был решен в пользу первого больше по соображениям о том, что новые хозяева города не любят Америку; впрочем, они были выше этого: в печатной карте одно знаменитое вино сохранило имя еврейского владельца виноградника, — они сносили даже это). Из истории ничего не вышло: очень большое лицо — как говорили, «сам Геринг» — велело оставить ресторан в покое. Лице нередко удостоивало ресторан посещением и тогда вокруг стола Наполеона занимали места неприятного вида штатские люди, на которых искоса поглядывали лакеи и посетители, обмениваясь замечаниями шопотом. Вело себя лицо в высшей степени корректно и либерально: восхищалось винами, в том числе и еврейским, снисходительно признавало красоту Парижа и на ужасном французском языке рассказывало парижские анекдоты— «das kann man nicht deutsch erzählen», — *) вызывая всеобщее восхищение свиты.

Немецкие офицеры появлялись в ресторане нередко, хотя он был очень дорог и при установленном курсе марки. Среди них уже были и завсегдатаи, называвшие старого метр-д-отеля по имени. Но большую часть посетителей составляли новые штатские господа, которых мосье Альбер прежде никогда

*) «Это нельзя передать по-немецки».

не встречал. И как старательно они ни пожимали плечами, расплачиваясь, как ни говорили возмущенно «Non, tout de même!», старый метр-д-отель отлично понимал, что для них цены блюд и вин не имеют ни малейшего значения: все они ежедневно загребали десятки и сотни тысяч на разных сделках с немцами. Мосье Альбер был с ними очень почтителен, но совершенно их презирал, несмотря на то, что они оставляли на чай много щедрее, чем прежние посетители. Прежние заходили редко и с ними он обменивался вздохами и грустными усмешками. Прежние изумленно глядели на карту: «Господи! Как же вы теперь достаете все это?». Метр-д-отель печально улыбался и разводил руками, показывая, что этого не может сказать даже им.

В этот вечер в ресторане не было немцев (без них, несмотря на привычку к ним, посетители чувствовали себя гораздо лучше). Столы были заняты не все. Для ранней осени день был сумрачный и холодный. К обеду уже начало темнеть, и ровно в 7 час. 30 м. мосье Альбер приступил к совершенно ненужной, но обязательной ночной декорации. Синяя бумага и белые накрест бумажные ленты оставались на окнах с начала войны. Густо замазано было синей краской окно слабо освещенной передней. Свет не прокрадывался на улицу ни из окон, ни из под двери. Надо было только опустить и тщательно пригнать шторы и портьеры на окнах главной комнаты. Мосье Альбер это проделывал каждый вечер не без удовольствия, и так же теперь это встречала публика ресторана, точно военные предосторожности облагораживали всеобщую, полную и несомненную безопасность. Компания спекулянтов, занимавшая большой стол у правого окна, с полной готовностью пошла на жертву родине, — поднялась с мест, облегчая работу мосье Альберу. Обмениваясь с ними подобающими шутками, он проделал то, что полагалось, затем потревожил господина, пришедшего уже довольно давно, еще до семи, и читавшего в

*) «Однако!».

Новоселье

одиночестве газету за столом у другого окна. Этого господина с желтоватым измученным лицом, с траурной повязкой на рукаве пиджака, мосье Альбер не относил ни к прежним, ни к новым. В былые времена он в ресторане не появлялся; но и на новых совершенно не походил. Заказывал он обычно лишь какую-нибудь котлету, бутылку минеральной воды и чашку кофе. Метр-д-отель предполагал, что господин болен желудочной болезнью и нуждается в хорошем диететическом столе, который теперь можно получить только в первоклассном ресторане. И хотя ради котлеты и бутылки минеральной воды не занимают стола в таком месте, мосье Альбер этого посетителя, ставшего в последнее время завсегдатаем, встречал вполне учтиво, — из-за траурной ли повязки, или из-за того, что господин с явным отвращением смотрел на всю публику ресторана. Как большая часть посетителей, он теперь приезжал на велосипеде. Его новеньким, лучшей фабрики, велосипедом неизменно восхищался в передней мальчик в синей курточке с золотыми пуговицами.

Вошла еще компания с веселыми «Ah!» и «Oh!», невольно вырывавшимися у каждого при переходе из темноты в ярко освещенную уютную комнату, при виде столов с белоснежными скатертями, бутылок с золочеными воротничками в ведерках. Мосье Альбер заботливо их рассаживал, высказывая печальные соображения о погоде (он говорил так, будто и погода теперь была не та, что в прежние времена). Затем — было 7 часов 55 — в передней послышалось что-то вроде «звяканья шпор» или даже «бряцания оружия». Мальчик в синей куртке широко распахнул дверь. Вошли два германских офицера. Высокий, плечистый, на диво выбритый полковник, тоже новый завсегдатай, раза два приезжавший в свите большого лица, прямо направился к столу Наполеона, в сопровождении мосье Альбера. Метр-д-отель не различал немецких погонов и обычно всех пожилых офицеров называл: «Votre Excellence», что с их стороны никогда возражений

не вызывало. Он впрочем знал, что этот завсегдашней имеет лишь чин полковника; но называть немца «*Mon colonel*» было ему неприятно.

Другой офицер мало отличался от первого по возрасту, и по наружности: оба были крепкие, крупные, краснолицые люди с квадратным, украшенным снизу складками, затылком, с тем общим в выправке, даже в выражении лица, что испокон веков облегчало работу враждебных Германии каррикатуристов и что во всех странах, без всяких войн, всегда вызывало недоброжелательство к немцам. Только второй офицер носил усики, не имел на левой бледно - пухлой руке двух пальцев, да еще лицо у него было благодущнее, и погоны не совсем такие. «Должно быть, подполковник», — подумал метр-д-отель, достойно - почтительно подвигая вошедшим стулья, и мысленно пожелал рака желудка и полковнику, и подполковнику.

Полковник заказал обед, не взглянув ни на карту, ни на метр-д-отеля; у него вид был такой, точно он произносил тронную речь. Подполковник, напротив, погрузился в перечень блюд. От профессионального взгляда мосье Альбера не ускользнуло, что смотрит он больше на правую сторону листа.

Подполковник лишь накануне приехал в Париж с далекого участка фронта; его сюда, после ранения, назначили для отдыха; работы у него было немного, и он второй день изучал город, с путеводителем старого издания. В знаменитый ресторан он пришел по приглашению своего сослуживца; но характер приглашения был ему не совсем ясен: «*Eingeladen*» или «*Aufgefordert*»? *) Между тем о ресторане этом в путеводителе говорилось: «*Sehr vornehm. Entsprechende*

*) Первое слово означает настоящее приглашение; второе в Германии употребляется тогда, когда одно лицо предлагает другому пойти куда - либо вместе, но с тем, что каждый будет платить за себя.

Preise» *). Несколько выше в той же книге было сообщено: *Die Pariser Küche gilt für die erste der Welt. In den Restaurants ersten Ranges pflegen die Portionen sehr gross zu sein. Darum ist es rathsam, hier zu dreien oder mindestens zu zweien zu speisen: Suppe für je zwei eine Portion, drei Personen zwei Beefsteaks und von allen weitem Gerichten nur eine Portion für drei Personen. Es lässt sich auf diese Art eine Mannigfaltigkeit ohne Ueberladung erzielen. Feinschmecker speisen selten allein; **). Однако обедавший с ним Feinschmecker не предложил делить порцию на двоих. Увидев среди замысловатых со звучными названиями, французских блюд застенчиво затесавшуюся, с более скромной ценой, «Choucroute garnie», подполковник обрадовался и с бодрой улыбкой старательно выговорил:

— Choucroute garnie. Pas te fin avec choucroute garnie. Te la pierre. ***).

Мальчик вошел из передней и что-то шепнул метр-д-отелю, чуть повернув голову в сторону полковника. Мосье Альбер, неслышно ступая по мягкому ковру, снова поспешно подошел к столу Наполеона.

— Автомобиль вашего превосходительства прибыл. Шоффер спрашивает, ждате ли ему? — сказал он значительным тоном, словно сообщал государственную тайну, и с неудовольствием оглянулся на красноногого *sommelier*, который

*) «Высокого ранга. Соответственные цены».

**) «Парижская кухня считается лучшей в мире. В ресторанах первого разряда порции обычно очень велики. Рекомендуется поэтому обедать там втроем или, по крайней мере, вдвоем: одна порция супа заказывается на двоих, два бифштекса — на троих, а из остальных блюд на троих достаточно одной порции. Таким образом достигается разнообразие без перегрузки. Гастрономы редко обедают в одиночестве».

***) «Шукрут с гарниром. Не надо вина в шукрут... Пива».

с презрением принес подполковнику пиво на серебряном подносе. Этого напитка в ресторане прежде и не подавали.

Полковник, не отвечая, смотрел в пространство под углом в 70 градусов к полу.

— **Das nennen die Leute Bier*)** — горестно сказал подполковник, отхлебнув из стакана. В его благодарной желудочной памяти на мгновение засиял настоящий **Pschorrbräu**, которым он в Мюнхене запивал лейтмотивы Нибелунгов и разные **Bockwurst-ы**, **Blutwurst-ы**, **Rothwurst-ы**, **Weisswurst-ы**, **Knackwurst-ы** и **Leberwurst-ы**. Угол между полом и направлением взгляда полковника уменьшился до 60 градусов. Мосье Альбер все так же ждал ответа, достойно - почтительно наклонив голову.

— Пусть ждет! — не сказал, а бросил полковник. Он эту манеру бросанья слов разучил недавно: в прежнее время, в приемных веймарских министров, умел разговаривать совершенно иначе.

— Пусть ждет, — поспешно, как эхо, но с исправленным акцентом, повторил мальчику мосье Альбер и взглянул на часы. Было две минуты девятого. Он с достойно - почтительной улыбкой оглянулся на немецких офицеров, на других гостей, и повернул ручку радиоаппарата. Это было новшество. В ресторане за все века его существования не было никакой музыки. Радиоаппарат поставили в начале войны. Через полминуты нечеловечески, как бы из далекой бездны всплывший на полуфразе, голос стал говорить слова, в которых не было ни одного звука правды. Все насторожились и стерли улыбки с лиц.

— Счет, — отрывисто сказал господин с траурной повязкой. На него оглянулись с соседних столиков. Он допил кофе, расплатился, вышел в переднюю и, поставив ногу на стул, стал завязывать тесемки на брюках, что теперь здесь удивления не

*) «Это люди называют пивом!».

Новоселье

вызывало. Руки у него, как заметил мальчик, с завистью подавший ему велосипед, немного тряслись. Мальчик погасил лампочку передней, зажег, с неизменным удовольствием, свой карманный фонарик нового образца — с синим стеклом — и отворил дверь. Господин дал ему на чай и вышел.

— До завтра, мосье, — сказал мальчик, гася фонарик (батареи были почти недоступны).

— Что?.. Да, до завтра, — ответил господин с черной повязкой.

У входа стоял только один автомобиль, зеленовато - серый, довольно потрепанный, с буквами «W. M.» и с номером, с черной свастикой на красном флажке, с затемненным, однако, довольно ярким, фонарем. Дальше, уже шагах в десяти, ничего не было видно. Господин с траурной повязкой бегло взглянул на автомобиль, вывел велосипед из освещенной полосы тротуара и неприятно - медленно, как теперь по вечерам все велосипедисты, покатыл по набережной. На углу у другого фонаря старушка, в платье сшитом из занавески, рылась в пустоватой корзине с отбросами. Местность стала совершенно безлюдной. В изъятие из правил, некоторые фонари в городе все же горели, обычно у зданий, над которыми развевался флаг со свастикой и у дверей которых неподвижно, как каменные идолы, стояли германские часовые в касках. Таких зданий в этой части Парижа было меньше, чем в других, но и тут они попадались нередко. Непривычную, непроглядную, непостижимую, бесшумную, бесконечную, беспросветную тьму изредка, на мгновенье, тотчас снова в нее погружаясь, прорезывали автомобили с флажком. Больше почти ничего не было ни видно, ни даже слышно, — только изредка четко и торопливо стучали по тротуару деревянные башмаки редких прохожих. Вдруг, выделившись светом, гулом, гогомом, грохотом, прошел газогенный автокар с немецкой молодежью, запоздало возвращавшейся с развлекательно - образовательной поездки по

достопримечательностям Парижа, от Notre Dame до Мон-мартра. Он остановился у маленькой, древней из древних, церковки; что-то на автокаре повелительно прозвенело, хохот мгновенно умолк, и полнокровный, точно насыщенный пивом, начальственный голос начал что-то говорить, видимо длинное: — «Das ist eine der ältesten» *). Дверь церковки приотворилась, сверкнул бледный свет, на пороге появился, сгорбившись, испуганно приложив руку ко лбу, священник. «Должно быть, служит messe votive», — подумал господин с черной повязкой. «...Quare tristis es anima mea? Et quare conturbas me?». Когда-то была в Испании messe pour la mort des ennemis, ее потом отменили в Риме, но ее надо бы восстановить теперь, — к концу той тысячелетней цивилизации, кторая так упорно, без всякого основания, хочет перейти в историю под псевдонимом христианской»... — «Dante - Alighieri — 1265 - 1321 — der grosse Dichter auf den die Italiener, unsere tapferen verbündeten... (послышался гогот, и тотчас на автокаре опять что-то прозвенело, на этот раз отрывисто - гневно)... mit Recht so stolz sind, soll in dieser Kirche»... **). ...Да, лучшие слова в этой книге: «Moriatur anima mea cum Philistiim». Вот это и верно, и кратко, и так необыкновенно хорошо»... Он немного ускорил ход велосипеда. Впереди, шагах в пятидесяти, вырезались рядом и стали приближаться два тусклых огонька, к ним чуть повыше присоединился третий, на велосипедах медленно проехали два французских полицейских. Один из них, нагнувшись, держа в протянутой руке фонарь, подозрительно окинул взглядом господина с повязкой. Еще дальше, как раз за тем домом, где был проходной двор с выходом на параллельную

*) «Это одна из старейших»...

***) «Данте-Алигьери — 1265-1321 гг. — великий поэт, которым справедливо гордятся наши храбрые союзники итальянцы... в этой церкви...».

улицу, внезапно кто-то в трех шагах, впрочем без всякой злобы, скорее радостно - грубо, выругался по-немецки. Визгливый женский голос повторил ругательство в более кратком французском варианте. Господин затормозил и поднял левой рукой фонарик. Солдат в каске перед самым велосипедом перелез через улицу женщину. «...Non, mais des fois! T'es soûl! Alors quoi! J't'en foutrai!..» *)—кричала проститутка, видимо показывая спутнику, что здесь она знает, как говорить. — «Saukerl! Schweinehund!» — рычал солдат.

Заговорил комментатор. Это не было так важно. Мосье Альбер опять вопросительно оглянулся сначала на стол Наполеона, затем на стол у окна, и закрыл аппарат. Речь оборвалась с тем же кряканьем. Послышалась музыка: легкая, очень легкая. С лиц спекулянтов сошло патриотическое тревожное внимание. Красноносый *sommelier* принес к их столу поднос с ликерами. Мосье Альбер скользнул ему на помощь, взял у него бутылку и сам налил коньяку в низкий цветкообразный стакан того спекулянта, который в этой компании обычно платил по счету: они общую сумму всегда делили поровну, отвечая великодушными восклицаниями на великодушные протесты тех, кто заказывал больше других: «*Voyons, voyons,*»... — ...Музыка сейчас для меня единственное спасение! Я до поздней ночи слушаю Берлиоза или... да, Берлиоза. Не спится, ничего не поделаешь», — с патриотической горечью говорил старший спекулянт. Мосье Альбер сочувственно - почтительно улыбнулся и пожелал и ему рака желудка.

За столом Наполеона обед тоже кончался. Оказалось: не «*Aufgefordert*», а именно «*Eingeladen*»: это стало подполковнику ясно после того, как полковник, не спрашивая его, заказал бутылку, целую бутылку, шампанского. Вино было

*) Брань.

замечательное, и вкусовое наслаждение от него еще усиливалось от сознания, что пьешь не какой - нибудь Хенкель, а самое настоящее французское шампанское, — лучше не бывает. «Право, он хороший человек... Кто распускает о нем вранье, будто он свирепое животное, и все такое?» — думал подполковник. Он думал также, что сберег не мало денег: если исходить из стоимости **Chocroute** пива и из доли в на чае, то экономия была весьма существенна; но даже если считать просто по стоимости обеда в среднем ресторане?.. Можно купить духи жене: духи еще не все раскуплены. Потом эти мысли были у подполковника отравлены другой: собственно, следовало бы **реваншироваться** — позвать на обед и полковника. Но эта мысль у него только промелькнула и даже тогда, когда она мелькала, он твердо знал, что ни на какой обед полковника не позовет: «Сюда я не могу, это было бы глупо и смешно, и он отлично знает мои средства. А звать его в дешевый ресторан мне не подобает, и это все - таки не был бы реванш, и даже было бы не по светски тотчас отвечать приглашением на приглашение... Когда - нибудь, при случае»..

За шампанским полковник заговорил о своих успехах по службе, о своей близости к верхам власти, и настроение у подполковника стало несколько менее благодушным. Они когда - то служили вместе в небольшом городке, но не виделись лет восемь, по рождению принадлежали к разным кругам и в сущности никогда близки не были. «Может быть, он и пригласил меня для того, чтобы показать, как далеко ушел по сравнению со мной... Со всем тем он любезный человек. И щедрый»... Полковник как раз **бросал** взгляд на счет. Немного задержавшись все же на счете глазами, он ничего не сказал и оставил на чай восемь процентов (в Берлине оставлял десять, но здесь ему теперь почет был обеспечен все равно). Мосье Альбер почтительно поблагодарил и подумал, что рак печени, быть может, лучше рака желудка. Взглянув на часы, полковник ахнул. Оказалось, что его ждут у высокопоставленного лица: так, просто, разговоры и бридж.

Новоселье

— ...Он без меня не садится за стол... Разумеется, я вас подвезу.

— О нет! Это, кажется, не по дороге и совершенно не нужно, — говорил конфузливо подполковник. Ему очень хотелось бы, чтобы его подвезли: он еще плохо разбирался в подземной дороге.

— Тогда вот что: Я подвезу вас до той станции метро, что у моего дома. Оттуда к вам прямая линия, без пересадок. А для меня это крюка не составляет. Мы будем там через семь минут.

— Какая точность! Через семь минут!

— Я каждый день езжу отсюда домой. Только сегодня этот несчастный мост. Мы все - же допьем бутылку.

— *Unsre Vater tranken immer noch einen vor dem letzten *)*, — сказал классическую прибаутку подполковник.

В автомобиле полковник продолжал рассказывать о своих служебных успехах и административных идеях. Благодарно - любезная улыбка стала сползать с лица подполковника. «Да, это обычная история: он штабной администратор, я боевой офицер. Ему награды, мне раны... Хорошо еще, что отделался двумя пальцами!» (кисть левой руки у него тотчас заныла сильнее). «Может быть, и есть доля правды в том, что о нем говорят», — думал подполковник все более хмуро. Однако он поддерживал разговор, задавая преимущественно такие вопросы, которые не давали бы его спутнику возможности говорить о своих успехах. Когда автомобиль остановился у синего фонаря, подполковник сказал: «Надеюсь, скоро», но мысленного многоточия не уточнил и только гостеприимно улыбнулся, повторив, что ему было очень, очень приятно: «Очаровательный вечер»... Он крепко пожал руку полковнику и вышел из автомобиля, держась осторожно за дверцы, чтобы не оступиться и не ушибить раненой руки.

Автомобиль отошел, оставив подполковника на площади.

*) «Наши предки всегда выпивали перед последним еще один».

В нескольких шагах от места, на котором он стоял, все было погружено в ту же крошечную тьму, которая действовала и на него, хоть он еще совсем недавно находился на далеком фронте, в селах, где никаких вообще фонарей верно не было с сотворения мира. Подполковник вспомнил, что Париж называют «городом - светочем», и усмехнулся. «Все - таки они перестарались: никакие англичане и не думают нас здесь бомбардировать. Это теперь, пожалуй, единственное место в мире, где еще чувствуешь себя в безопасности, даже скучно... Вон там, должно быть, метро. Но там нельзя курить. Еще одну, так и быть, последнюю». Он достал портсигар, морщась от боли в руке, и, повернувшись спиной к ветру, оттопырив губы с папиросой, стал ее раскуривать. В конце площади сверкнул крошечный синеватый огонек. «Слава Богу, хоть один живой человек!»... У подполковника не было зажигалки, — надо подавать пример экономии бензина, — он имел на такой случай свою систему: свести в полоску три спички так, чтобы одна головка выступала: если она начнет задуваться, от нее успеют зажечься другие. «Будем надеяться, что английские летчики не воспользуются ни моими спичками, ни его фонариком... Что это он так быстро едет? Хочет сломать себе голову?»... Синяя точка мчалась прямо на него — и вдруг стала странно замедляться. Что - то сразу точно полоснуло подполковника. «В чем дело?! Что за человек?! Чего ему надо?! Да это»... Загремели выстрелы. Вторая и третья спичка вспыхнули, осветив нижнюю часть лица, оттопыренные губы, седоватые усы. По лицу велосипедиста промелькнул ужас, он опустил руку и понесся дальше, мгновенно потонув во тьме. Подполковник зажал во рту папиросу, выронил ее, сделал несколько кривых шагов, пошатнулся и тяжело повалился грудью на мостовую, ударившись головой о фонарный столб.

Декабрь 1941.

М. ВОЛОШИН.

Максимилиан Волошин (р. в 1877 г.) известный русский поэт, принадлежавший к школе символистов. До первой мировой войны Волошин жил долгие годы в Париже, где занимался живописью и переводами лучших французских поэтов начала века. Многие из его переводов считаются образцовыми. Волошин очень любил и отлично знал Францию и посвятил ей ряд стихотворений, в которых в полной мере сказывалось его поэтическое мастерство. Печатаемые ниже стихотворения, не вошедшие в сборники произведений Волошина, написаны им в дни войны 1915 г., но производят такое впечатление, точно автор их говорит о современном Париже. После революции, Волошин в сборниках «Демоны глухонемые» и «Стихи о терроре» дал очень интересный поэтический отзыв на события: он попытался отыскать в них основные черты судьбы России и связать ее прошлое с настоящим. В 1919 — 1921 г. произведения его пользовались большой популярностью. В это время Волошин был очень близок к так называемой «коктебельской группе» писателей.

Волошин умер в одиночестве и забвении десять лет тому назад — в 1932 г.

ПАРИЖУ

Неслись года, как клочья белой пены,
Ты жил во мне, меняя облик свой.
И, уносимый встречною волной,
Я шел опять в твои замкнуться стены.

Но никогда, сквозь жизни перемены,
 Такой пронзенной не любил тоской
 Я каждый камень вещей мостовой
 И каждый дом на набережных Сены,

И никогда в дни юности моей
 Не чувствовал сильнее и больней
 Твой древний яд отстоенной печали

На дне дворов, над крышами мансард,
 Где юный Дант и отрок Бонапарт
 Своей мечты миры в себе качали.

19 апреля 1915.

ВЕСНА

Мы дни на дни покорно нижем,
 Даль не светла и не мутна.
 Над замирающим Парижем
 Плывет весна, и не весна.

В жемчужных утрах, в зорях рдяных,
 Ни радости, ни грусти нет.
 На расцветающих каштанах
 И лист — не лист, и цвет — не цвет

Неуловимо беспокойна,
 Бессолнечно просветлена,
 Неопьяненно и нестройно
 Взмывает жданная волна.

Душа болит в краю бездомном,
 Молчит, и слушает, и ждет.
 Сама природа в этот год
 Изнемогла в бореньи темном.

Г Н О М

Шурик ходил с бабушкой на кухню. Бабушка была толстая, рыхлая, с бородавкой на когда - то вздернутом, теперь мясистом и пористом носу.

Она жарила картошку, близоруко нагибаясь над сковородой, приговаривая: «незабвенный так любил картошку»...

Н е з а б в е н н ы й был отцом Шурика. Он умер год тому назад. От него остались только гипсовая маска, карточка в черной кожаной раме и еще, пожалуй, это потрескивание картошки на кухне.

Вечером приходила мама с уроков музыки. Она приносила запах собачьей сырости, ботишков, почти нечеловеческую усталость.

От всех разговоров: «Маничка талантлива, только ритм хромает», «у Пети, знаете, удивительные способности», ругать нельзя — урок потеряешь, у нее болела голова и даже нежность к Шурику становилась автоматической.

Она целовала его, называла л а с т о ч к о й, спрашивала, где он гулял сегодня с Верой Семеновной...

Действие происходило в западной части Берлина, в «почти коммунальной» квартире вдовы тайного советника.

Сама «фрау геheyмрат» ютилась в бывшей комнате для прислуги, заставленной рухлядью. Питалась она отбросами от жильцов, яйцами, приобретенными на распродаже и вонючим расплзающимся сыром.

Она ненавидела пятилетнего Шурика за невоспитанность, но при бабушке делала сладкое лицо и говорила:

София Прегель

«ах, какой это ребенок, он слишком умен»...

Фрау гехеймрат рассказывала о сыне своей сестры, умершем от «большого ума».

У нее знакомые и родственники умирали от всяких пустяков: зубной боли, насморка, нарыва на пальце.

Зато она крепко цеплялась за жизнь, не собираясь, вообще, умирать.

Еще жила в квартире страховая агентша со своим любовником, которого для приличия называли «женихом».

Помолвлены они были уже лет десять. Сама невеста не верила, что когда-нибудь они поженятся.

У так называемого жениха ее в Тюрингии водились жена и дети.

Агентша дружила с теткой Шурика, развинченной, нервной дамой.

Тетя Маня считала себя обиженной Богом. И казалось ей, еслиб она имела такие лифчики, такие комбинезоны и такой банковский счет, как мадам Р., вся жизнь сложилась бы иначе.

Она поехала бы на курорт, проделала бы курс худения, затем «эти лифчики» окончательно исправили бы природный дефект, дряблость груди, и в нее, конечно, начали бы влюбляться...

От скуки, за неимением «объекта», тетя Маня преследовала Шурика.

«Ты меня любишь, маленький, солнышко мое», лепетала она, покрывая поцелуями грязные, расцарапанные ручки. «Милая Маня, нельзя же всех любить», отвечал ей, обычно, Шурик грубоватым «взрослым» голосом.

— Такие квартиры, с темными проходными столовыми, с жилищами - неудачницами, уместны только в Берлине, — думала Вера Семеновна, «барышня для прогулок».

Сидя в парке рядом с корзиной для мусора и бумаги, она отгоняла эту назойливую мысль, стараясь, всеми способами, вызвать в себе подобие чувства к Шурику.

Новоселье

Она воскрешала образ «маленького оборвыша», ей вспоминался из книжки с голубым переплетом обаятельный мальчик, миллионер Реджинальд, сам лорд Фаунтлерой, положив руку на ошейник лягавой собаки, шел навстречу угрюмому одинокому старику.

Но, увы, перед ней был не книжный ребенок, а неизбежный патетический Шурик, которого она боялась и по временам, стыдно сознаться, ненавидела.

Выпятив грудь, он декламировал:

«И дать ему в награду
Сто фунтов винограду,
Сто фунтов шоколаду,
Сто фунтов мармеладу,
И тысячу порций мороженого»...

«Индюк, индюк», орали дети. Они все недолюбливали Шурика. Это была русская детвора, маленький остров среди моря прилизанных немецких детей.

Смотрительницу уборной Шурик поразил и даже встревожил.

«Ваш голос напоминает мне голос бабушки», сказал он. Старуха заморгала и обиделась.

«Что он говорит», спросила она Веру Семеновну, застывавшую штанишки Шурика. «Это ваш сын»?

«Нет, нет, что вы», испугалась Вера Семеновна.

И хотя Шурик разговора не понял, выйдя из домика, увитого розами, он процедил презрительно и высокомерно:

«терпеть не могу немок»...

Вечером в квартире воцарялось относительное спокойствие.

Хозяйка, сидя без огня в комнате для прислуги, думала о том, какой при покойном «гехеймрате» был порядок: столы и кушетки стояли на месте. И вот ворвались жильцы, портят мебель, все присидели.

Агентша тихо ссорилась с женихом, заканчивая вчерашний бурный спор.

Усталая мама спала в кресле. У ног ее веером лежала газета. Тетя Маня ушла к подруге. Бабушка, по обыкновению, топталась на кухне.

Вера Семеновна в это время укладывала Шурика в кровать с высокой белой сеткой. При вечернем свете он был бесконечно мил. «Какая у него шейка трогательная»...

Она начала рассказывать ему сказку, самую свою любимую, про «козу - дерезу».

Шурик, казалось, слушал внимательно. Тень от абажура падала на его крохотный, с продольной морщинкой, лоб.

«Деточка, милая», умиленно думала Вера Семеновна, «как я несправедлива к нему».

В сумочке ее лежало, сегодня полученное, письмо с обещанием визы.

Привыкшая за последние годы жить только будущим, она видела дома возле «гар дю нор», весенний, фиолетовый Париж.

«Сказку, еще сказку», капризно тянул Шурик.

Но ей уже трудно было говорить «про козу». Она гуляла по Елисейским Полям. Зеркальные витрины отражали единственный в мире закат.

И вдруг в тишине раздалось задумчиво:

«Скажите, Вера Семеновна, вы старая? Скажите вы скоро умрете?»

Кто-то бросил камень в сияющую витрину, вывески из пунцовых стали желтыми, Париж уплыл навсегда. Она снова ненавидела свою жизнь и Шурика.

«Гном, гном несчастный», яростно стучало в висках. А раскрасневшийся Шурик сидел в кровати и смотрел на нее непроницаемыми, круглыми глазами.

«Не знаю», пробормотала Вера Семеновна, «может быть и умру. Спи, спи»...

В первый раз за трудный день Шурик послушался, лег на бочек и провалился в глубокий, невинный, детский сон.

КРИСТИНА ФРАНКФУРТ.

АВИАТОР

М О Е М У С Ы Н У

Рычал мотор, гоним твоим упорством.
Аэроплан вгрызался в облака.
Послушные, внизу скользили версты,
И новые текли издалека.

Рука легла на руль легко и властно.
Железный шлем стальной сжимает лоб.
Навстречу обезумевшим пространствам
Мотор кидает свой победный вопль.

То падающий лист, то нож, разящий грудь,
Однообразно, медленно и жутко
Он чертит мертвыми петлями путь,
Как коршун кружится, а падает голубкой.

Спокойный холодок уверенного взгляда,
Привыкшего впиваться в высоту,
Я узнаю: им не нужна награда.
Такие умирают на посту.

О жены бедные, о матери в слезах,
Оставьте их лететь судьбе навстречу.
Игры таких не остановит страх.
Таким нельзя мешать или перечить.

С порога опустевшего, рукой
Прикрыв глаза от режущего солнца,
Глядите вслед летящим высоко,
Рожденным добиваться и бороться.

ВЛАДИМИР БАКАЛЕЙНИКОВ

ЗАПИСКИ МУЗЫКАНТА

СОПЕРНИКИ

В России были два страшных соперника — Петербург и Москва.

Все, что признавалось Москвой, отрицалось Петербургом. Все, чем восхищался Петербург, Москва старалась развенчать.

Москвичи гордились своим говором, — чистым, без примеси европейства, без ломания, без грассированья. Петербуржцы считали московский говор некультурным, грубым, — мужицким.

Спорам о преимуществе того или другого города не было конца. Мы, учащаяся молодежь, принимали в них живое и бурное участие.

В бытность мою учеником Московской Консерватории, Россия, с ее 150-ти миллионным населением, имела только две консерватории — в Москве и в Петербурге. Позже, Киевская, Харьковская и Саратовская Музыкальные Школы были переименованы в консерватории.

Ученики Петербургской Консерватории смотрели на москвичей сверху вниз. Мы платили им тем же.

Когда возникал спор о профессуре, каждый петербуржец, само собою разумеется, тыкал нам в нос имена Антона Рубинштейна, Римского - Корсакова, Глазунова, Лядова, Ауэра, Есиповой, и др. Мы же, в свою очередь, не оставаясь в долгу, хвастались по-детски, называя имена Чайковского,

Новоселье

Танеева, Скрябина, Гржимали, Ипполитова - Иванова, Метнера и других.

Музыканты Петербурга и Москвы никогда не могли договориться, с каким ударением надо произносить фамилию Мусоргского. Петербург произносил — Мусоргский, с ударением на первом слоге, тогда как Москва делала ударение на втором — Мусоргский. Кто был прав, не берусь судить, но соперники - города и их жители продолжали вековую борьбу за первенство, как в серьезных вопросах, так и в мелочах.

Лично я любил Москву, где я родился и учился; любил ее за демократичность, за простоту и гостеприимство, за размах, за русскость.

Позднее, переехав в Петербург, я полюбил его так-же, как Москву, за его аристократичность, сдержанность и официальность, за комбинацию русскости и западничества, и еще за то, что Петербург был в России единственным европейским городом.

Наибольшего расцвета Московская Консерватория достигла при директоре Василии Ильиче Сафонове.

Он был прекрасный музыкант, первоклассный камерный пианист и лучший в России дирижер. Россия не могла похвастаться своими дирижерами. Императорские театры имели прекрасных дирижеров, но они, почти все, были иностранцы: в Петербурге — Направник, Коутс, Дриго. В Москве — Альтани, Сук, Арендс.

Но, пожалуй, самой большой заслугой В. И. Сафонова была его административная деятельность. При нем Консерватория перекочевала из мрачного, неудобного старого помещения в новый дом (на Большую Никитскую), построенный по плану самого Сафонова, с замечательными концертными залами (Большим и Малым), с большими, светлыми классами, со специальными стенами, через которые звуки не проникали. Прекрасно оборудован был и театр для оперного класса. Рояли в классах были в блестящем состоянии, заменив те разби-

тые балалайки, какими была полна старая Консерватория у Храма Христа Спасителя.

Страшно строгий в обращении с учениками, В. И. Сафонов великолепно умел ладить с богатыми московскими купцами, доставая бесконечное количество стипендий, которыми он щедро награждал талантливых учеников.

У него, сына Кубанского казачьего генерала, в обращении с учениками было много «от генеральства». Человек бесспорно очень хороший и чрезвычайно добрый, он был властолюбив, и это привело его к административной катастрофе.

Всей Консерваторией он «командовал» и создал в ней прекрасную дисциплину, которая позднее, под давлением революционных событий 1905 года, рухнула, и В. И. пришлось уйти в отставку после ряда личных огорчений и разочарований.

При нем особенно разгорелось соперничество между двумя Консерваториями. Лично мне пришлось пережить это соревнование и даже поплатиться своими «боками».

Однажды до нас, учеников, дошли слухи, что Петербургская Консерватория открывает памятник своему основателю, Антону Рубинштейну. Специальный комитет Русского Императорского Музыкального Общества разработал грандиозную программу торжества и решил дать один концерт из произведений А. Рубинштейна.

К участию в нем были намечены совместный оркестр и совместный хор петербургской и московской консерваторий для исполнения кантаты - оперы «Вавилонское Столпотворение».

И какова же была наша радость, когда дирижером этого торжественного концерта был избран наш директор — В. И. Сафонов.

Началось неимоверное хвастовство и бахвальство. «Мы, мол, им, петербуржцам, покажем, где раки зимуют». И мы заранее представляли себе, как петербуржцы будут у нас заискивать и как мы великодушно будем щадить их уязвленное самолюбие.

Новоселье

Наступил момент поездки в Петербург. До первой репетиции каждый из нас получил лист с инструкциями. В них объявлено, что петербуржцы занимают в оркестре первые места, так как они — хозяева, а мы, как гости, — вторые.

Нашему возмущению не было конца. Мы, которые неизмеримо «выше» их, должны занять вторые места... Где же справедливость... Как мог допустить такое унижение наш директор... Но мы были хорошо дисциплинированы и подчинились.

На первую репетицию мы явились, когда петербуржцы уже сидели на своих местах. Пробираясь к своему месту, я быстро отыскал пятый пульт первых скрипок и уселся слева, так как справа уже сидел «какой-то» петербуржец.

Помня завет моих товарищей о великодушии в отношении наших «хозяев», я слегка поклонился ему, соседу, считая, однако, ниже своего достоинства рекомендоваться и называть свою фамилию. Настраивая скрипку и наигрывая всякие рулады, я осторожно рассматривал соседа, занятого натягиванием новой струны.

Будучи пятнадцатилетним юношей, я был довольно крупного телосложения (как большинство москвичей). И моему возмущению не было предела при виде сидящего со мной рядом скрипача: он был страшно - маленького роста, почти карлик, худой, бледный, без всяких признаков темперамента.

Я тут же решил, что это недоразумение; что этот мальчуган, который, вероятно, не умеет сыграть двух нот, залез «не в свои сани»; что он обнаружит свою ошибку и уберется, если не ко всем чертям, то, по крайней мере, на последний пульт вторых скрипок.

Пока я думал все это, продолжая наигрывать рулады, чтобы показать своему соседу, как надо играть, он окончил процедуру надевания струны, взял скрипку, настроил и заиграл...

Немедленно вся моя спесь провалилась в тартарары. Не-

сомненно, рядом со мной сидел гениальный виртуоз. Опустив смычок, я слушал «соседа» — зачарованный.

Репетиция началась. Для «соседа» не было трудностей. К концу репетиции я был у него в плену. Скромно встав со своего места, я тихо спросил его: «с кем имею удовольствие говорить». На что «малыш» просто ответил: «Цимбалист — моя фамилия».

Мы пробыли в Петербурге около недели. Я встречался с Цимбалистом дважды в день (репетиции были утром и вечером). Мы подружились. Он мне много играл. Он покорила меня окончательно своим талантом и обаятельностью. И до сих пор мое отношение к нему, как к музыканту и человеку, не изменилось.

Приехав на вокзал для отъезда в Москву, я увидел среди огромной толпы, пришедшей нас провожать, моего маленького приятеля. Я крепко, крепко пожал его руку, пожелав ему блестящей концертной карьеры, которую я предчувствовал всем своим существом.

Поезд, загремев колесами, понес нас в Белокаменную. Забравшись на самую верхнюю багажную полку, я пытался заснуть, но скоро убедился, что это мне не удастся из-за громких голосов моих товарищей. Я стал прислушиваться.

Разговор вертелся все время вокруг вопроса, — кто лучше и кто хуже. Мои коллеги со страшным хулиганством доказывали друг другу, что мы, москвичи, «затмили всех петербургских скрипачей», что все они — бездарны, что школа Ауэра — сплошной позор, что им до нас, как до южного полюса и т. п.

Я слушал долго, но вдруг не выдержал. Закричав на них громким голосом, я горячо начал доказывать, что они не правы, что петербуржцы — куда выше нас, что у них каждый скрипач — виртуоз, что школа Ауэра — идеал, что все ученики его — законченные артисты; мы же, москвичи, — просто талантливые ученики — подмастерья.

Моя последняя фраза была зажженной спичкой, подне-

Новоселье

сенной к пороху. Все бросились доставать меня. Хватая меня за руки и за ноги, несогласные со мною товарищи пытались сбросить меня с моей верхней полки на пол. Я защищался, как мог и, не оставаясь у них в долгу, отбивался руками и ногами. Но борьба была не равна. И я был сброшен вниз с такой силой, что все мое тело потом было покрыто ссадинами и синяками.

Так я «пострадал» за моего «маленького соседа» — Ефрема Цимбалиста, за соперничество Москвы и Петербурга и за мое «особое мнение» о петербургских скрипачах.

ИРИНА КУНИНА

ВСТРЕЧА СО СТЕФАНОМ ЦВЕЙГОМ

У Гуго фон Гофмансталя, австрийского поэта, есть восточная легенда: однажды, молодой садовник персидского шаха, подрезая розы в саду, увидел, прятавшуюся за деревом, смерть. Испуганный садовник побежал к шаху, стал умолять его о помощи — он еще молод, ему хочется жить... Шах дал ему своего лучшего скакуна и приказал бежать в Испанию, а когда садовник умчался, он вышел в сад и спросил смерть, зачем она пришла за садовником так рано? Смерть вежливо ответила, что попала она сюда случайно и очень удивилась, встретив того самого садовника, которого должна была сегодня вечером найти в Испании.

В эти невероятные годы, когда людей мотает по земному шару, как мышей по палубе тонущего корабля, когда мир — этот с трудом вообразимый прежде, необозримый, неизвестный мир — сделался клеткой, в которой не много осталось мест, где можно дожить — не спокойно, нет, — свободно! — когда песней звучавшие имена — Казабланка, Мадрид, Рио-де-Жанейро — превратились мгновенно в мытарские этапы без всякого очарования — (неблагодарный народ беженцы), я часто вспоминаю сказку о садовнике и смерти.

Я видела австрийских, немецких и чешских беженцев, уцелевших в Австрии, Германии и Чехии для того только, чтобы встретить ее в Югославии, Венгрии, Болгарии, Франции — в Испании. И людей, выживших в сражениях в Испании, но погибших после победы Франко в концентрационных лагерях, не на германской или австрийской, а на французской или ис-

Новоселье

панской территории — ее рука дотянулась до них в Испани. Они бежали не от смерти, а от бесчестия, но находили не честь а смерть.

Стефана Цвейга она нашла в Рио-де-Жанейро. Он сам бросился к ней, прося у нее защиты, избавления. Неправда, что ко всему можно привыкнуть и стать равнодушным! Смерть Стефана Цвейга — такая смерть такого человека потрясает даже в такие времена.

Небольшой худой человек с узким лицом — острые профили, соединенные анфас довольно банальными усами, живые, пронзительные, темные глаза, венски - вежливое, ласковое обращение — этот, ничем не замечательный портрет сохранился у меня в памяти по тем немногочисленным встречам, воспоминание о которых особенно дорого в наши дикие, сумасшедшие годы, когда о человеке забыто во имя человечества. Может быть именно поэтому хочется рассказать о человеке.

Весной 1930 года, решив провести каникулы на австрийских озерах, я упомянула о своих летних планах в письме к одному другу писателю, в Россию. В ответе я прочла: (привожу по памяти) — «Неподалеку от вашего озера, в Зальцбурге, на Капуцинберге № 5, живет замечательный большой писатель, Стефан Цвейг. Непременно познакомьтесь с ним — он будет рад вам: он любит русских и нашу страну. Поклонитесь ему от меня. В последнее время его почему то стали недооценивать...».

Не помню точно, что он еще говорил по этому поводу, и не знаю, обрадовался ли мне Стефан Цвейг, как предполагал мой русский друг, особенно радоваться, вероятно, ему было нечего, но сразу же, по получении моих строк с приветом от русского друга и моим летним адресом, он вызвал меня по телефону из Зальцбурга и пригласил к себе, в тот же день, к первому же чаю, ужину, или к чему я желала.

Его дом возвышался над этим очаровательным, моцартов-

ским, барочным городком (голубино - сизым — от камня дворцов и площадей до паутины, плившей над горами), сиявшим — радостно и покойно — в каком то особенно хрупком, последоведом, ровном, горном солнце. В большом, густом, тоже по-горному ярко - зеленом саду меня встретили лопухие черные близнецы — собаки, оголтело носясь вокруг меня и пугая своим шумным и слишком подвижным гостеприимством. Я шла по аллее к дому с опаской, когда навстречу мне появился хозяин, строго окликаая близнецов, — венски - корректный, венски - элегантный, чуть банкирный, очень не писательской наружности. Владевшее мною в поезде неловкое чувство от предвкушения визита к незнакомому человеку, через несколько минут совершенно исчезло — согретая его неподдельным радушием, я почувствовала себя совсем хорошо.

Мы сидели в его рабочем кабинете — просторной комнате в уровень с землей, обращенной окном в густую яркую зелень. Большой стол у окна, высокие полки с книгами вдоль стен, старая голландская печь очаровательной, зелено - голубой, бирюзовой расцветки, несколько картин Мазерееля и странно - знакомое полотно, высокого, банально - портретного формата: толстая женщина в пестром на густом кабальтовом фоне. Вспомнив, я удивленно воскликнула: «Нико Пиросманишвилли! Как странно встретить здесь! Откуда?» Он обрадовался: «Из России. Я его очень люблю. Попросил, вместо гонораров за мои русские переводы, позволить мне приобрести одну из его картин. Правда хорошо?».

— Это «Актрис Маргарит» — его прекрасная любовь?

— Откуда вы то его знаете, если не были в России так долго? Ведь его «открыли» для всех только недавно.

Я сказала, что у меня имеется монография об этом замечательном кавказском дуанье Руссо*), которой я дорожу —

*) Французский художник примитивист, прозванный «дуанье» — «таможенник» из - за службы в таможне.

Новоселье

прекрасное издание с текстом по-грузински, по-французски и по-русски, и отличными репродукциями в красках. Торжествуя, как ребенок, хвастающий такой же игрушкой, он достал свою монографию. Мы перелистывали ее вместе, а я рассказывала ему о том, как группа очень талантливых молодых югославских художников примитивистов нашла в этом далеком грузинском художнике - самоучке родную душу, и как чуть не ежедневно некоторые из них забегают ко мне посмотреть на Пиросмана. «Они насквозь его просмотрели». Цвейга заинтересовали югославские художники. Я рассказала ему о наших попытках устроить выставку их картин в Париже.

— Мазереель! Я попрошу Мазерееля, он поможет! Я могу попросить и самого владельца галлерей, где выставляет Мазереель, я и его хорошо знаю — он не коммерсант, а друг художников.

И попросил. Напоминать ему мне не пришлось. Мы обменялись с Цвейгом несколькими письмами по этому поводу, — владелец галлерей приехал в Югославию — мы нашли галерею и друга. Моя переписка с Цвейгом, вероятно, погибла — это судьба большинства документов в нашем веке, но сохранится память о том, как через «Актрис Маргарит» — цирковую артистку, музу грузинского художника, шлявшегося по дворам с полотном и палитрой — через толстую, пеструю, некрасивую восточную красавицу на кавказском кобальтовом фоне в лучах робкого Зальцбургского солнца — через привет друга из России — группа югославских художников показала свои картины на Рю де ла Боэси в Париже... как цепь радушия и дружбы увеличилась еще несколькими звеньями, в те далекие, теперь невероятные, идиллические времена, завершившись для меня последним письмом Стефана Цвейга, которое привезла мне в Загреб несчастная девушка, немка, дочь его застрелившегося друга. Он просил приласкать ее. Смерть нашла ее в Испани: эта девушка умерла через несколько месяцев, в Загребе.

Цель дружбы! Начало ее восходит к Ясной Поляне. Вот что рассказывал мне другой русский писатель:

Молодой студент Эколь Нормаль Сюперьер, Ромен Роллан, написал в дни сомнений и терзаний письмо Льву Толстому. Заполнил несколько страниц вопросами и послал из своего анонимного, молодого, штурм-унд-дранговского, тяжелого полубытия в Ясную Поляну, освещенную в те годы самыми яркими лучами славы Толстого и последними лучами его земной жизни в ней. Прошли недели, месяцы — ответа не было. Юноша мучился — прибавилось разочарование в Яснополянском учителе. Когда он перестал ждать — ответ пришел: длинное письмо, чуть ли не пакет. Толстой просил анонимного корреспондента простить ему это длительное молчание — он не мог и не хотел ответить ему наспех, кое как.

Впоследствии Ромен Роллан ездил в Ясную Поляну и написал книгу о ней. Так началась цепь дружбы, благодарности. Много лет спустя (хронологию событий сейчас проверить трудно), Ромен Роллан издал книгу о Махатма Ганди, а тот написал ему письмо и рассказал, как молодой студент из Индии вышел из той же Ясной Поляны, откуда в один прекрасный, долгожданный день он получил ответ на тысячу мучивших его вопросов. Они были братья «во Толстом».

1914—1918. Группа людей, о чьих взглядах на войну в этой войне судить трудно уже по тому одному, что сам Ромен Роллан в сентябре 1939 сжег своим открытым письмом Даладье и возвращением во Францию свои верования 1914 — 1918 годов, группа людей жила в Швейцарии: Ромен Роллан, поэт Пьер Жув, художник Мазереель, Стефан Цвейг, не помню кто еще.

Впоследствии Стефан Цвейг написал книгу о Ромен Роллане: еще одно звено Яснополянской цепи дружбы, а много лет спустя Ромен Роллан принимал у себя в Швейцарии, в Виль-Нев, того самого русского писателя, который рассказал мне это. Он принимал в его лице символического Льва Тол-

Новоселье

стого — ученика, вернувшего за учителя визит — четверть столетия спустя. А Ромен Роллан отдавал ему то, что получил в Ясной Поляне — радушие, дружбу.

(Ромен Роллан, а вслед за ним Стефан Цвейг, наиболее переводимые в России авторы, отдали свои гонорары за русские переводы — один московскому университету, другой — русским студентам. Если кто-нибудь возразит, что иностранные авторы все равно не могли вывозить из России своих гонораров, я со своей стороны возражу, что огромное большинство находило способ воспользоваться ими, и пользовалось).

Но я, совершенно непричастная к цепи дружбы, связывавшей этих больших людей, совершенно неизвестная «молодая начинающая» и так далее, я сижу вот уже третий час в кабинете Стефана Цвейга, в лучах пугливого Зальцбургского солнца, перемещающегося по кобальту Нико Пиросманишвилли, по бирюзовым изразцам старой голландской печи, по переплетам книг. И мы все время о чем-то разговариваем, а он не отпускает, хоть мне и стыдно и все вермя кажется, что надо уйти. Что интересного могу я ему рассказать? Но он настоящий — все интересно! Каждый, даже самый маленький человек — находка.

— Распишитесь в этой книге.

Я испуганно смотрю на страницы, пестрящие прославленными именами.

— Мне здесь не место.

Он смеется: «Не скромничайте, не в именах дело...». Я не знаю в чем, но думаю, что в дружбе, в ласковости, в большой человечности, в той цепи, звенья которой, разбросанные по миру, не растерялись.

Надо еще рассказать ему о русских писателях: что они пишут? — о югославских художниках; объяснить, какие там у нас в Югославии политические недоразумения? — не погазетному, а попросту, от человека. Это не интервью и не свет-

ский разговор, потому что ответы выслушиваются с глубочайшим вниманием.

Когда мне тот русский писатель рассказывал о цепи дружбы, я вспомнила кабинет в уровень с ярко - зеленым садом, скромные тихие лучи солнца, и мне показалось, будто они были отражением тех лучей, что исходили из Ясной Поляны. Ведь озарили же они мансарду юного Ромен Роллана в Париже, светили Махатме Ганди в Индии!

Австрия, Париж, Ясная Поляна — по всему этому прошло железо и огонь; документы, памятники — их нет, но звенья — они в портативнейшем и грузнейшем багаже — в человеческой памяти, благодарности.

От ухода Толстого до смерти Стефана Цвейга в Рио де Жанейро тянется невидимая, ни огня ни железа не боящаяся нить — большого, смелого человеческого страдания, такого же одиночества, такой же любви и сомнений.

Я встретила Стефана Цвейга еще несколько раз, позднее, и каждый раз добавлялось что то характерное для этого большого писателя и человека. Но об этом может быть в другой раз. О творчестве Цвейга нельзя в статье: его огромное литературное наследство ни один средневековый костер наших дней не сможет сжечь — он мог уничтожить дом на Капуцинской горе, поглотить книги, дотянуться до тела в Рио де Жанейро, но писатель — он уже пережил свой страшный век, от которого преждевременно бежал, и не о нем ли — об этом писателе — сказал один из поэтов его швейцарской эпохи 1914 — 1918 —

Я не с тобой, удачливое зло, —
Я с вечностью*).

Нью Йорк, 24.2.1942.

*) Je ne suis pas du crime heureux
Je suis de l'éternité.

РУССКАЯ ВЕСНА

Дым самовара, далекие всплески,
Воздух речной и задумчив и тих,
Это узорчатые занавески
Снова качаются в окнах слепых.

Маленький город, уютный без меры,
Там ли гуляли, девицам на страх,
По вечерам господа офицеры
И юнкера в голубых кителях?

Помнишь, вороны садились на плетни,
Помнишь ли птичий, ликующий сад,
Визги подростков и топот и сплетни,
Стройных акаций весенний парад,

Эти гармошки смешные коленца,
И на закате цветной хоровод,
Длинные, вышитые полотенца,
Дедовский, тяжкий, дубовый комод, —

Все, что для сердца усталого ново
В радостной, русской своей простоте:
Клей на коре золотисто - вишневый,
Божью коровку на смуглом листе,

Крыши пологие, сонные ставни,
Старую бочку с водой дождевой,
В зарослях буйных Днепровские плавни,
Небо гудящее над головой,

Солнечный серп на туманном востоке,
Полосы вспаханной, древней земли?..
Видишь: подсолнух уснул на припеке.
Слышишь: колодцев поют журавли.

ГУРЗУФ

В саду пылает утро. Ветви гнутся,
Смущенный лист зовет издалека,
Дрожит воды надтреснутое блюдо,
И я стою, не смея прикоснуться
К румяным стрелам сонного цветка.

Я слабости боюсь молочных лилий,
Написанных на выпуклом щите
Высоких клумб. Я черных сухожилий
Боюсь на белорозовом кусте

В саду густом, где запах нетревожен
Червоных роз, где далека от бурь
Одна скользит меж кипарисных ножен
Высокая и вешняя лазурь.

АПРЕЛЬ

Морщины забора белели заметнее,
Сгущалась фонтанов эмалевых тень,
Упруго - живая, семнадцатилетняя,
На пышном кусте распускалась сирень.

Новоселье

Играли, на полдень апрельский похожие,
Косые, кошачьи глаза синевой,
Пролетки мелькали, спешили прохожие,
И прыгали мальчики краснокожие
По светлой, резиновой мостовой!

МИХАИЛ ЗОЩЕНКО

У современной советской литературы имеется только один писатель, с чьим именем у читательской публики неизменно связывается представление как о «веселом писателе», «короле смеха» — это Михаил Зощенко. «Веселый» писатель, как это уже нередко бывало с большими юмористами, в действительности почти ипохондрик, а его «веселый» вклад в искусство в недалеком будущем станет одним из очень серьезных источников для изучения быта и психологии людей на переломе двух больших эпох.

Эту, совсем непростую, роль Зощенко в литературе хорошо почувствовал один из немногих действительно талантливых критиков В. Шкловский: «Зощенко — человек небольшого роста. У него матовое, сейчас желтоватое лицо. Украинские глаза. И осторожная поступь. У него очень тихий голос. Манера человека, который хочет очень вежливо кончить большой скандал».

Зощенко не только один из зачинателей советской литературы и член первой советской литературной группировки «Серапионовы братья», он и единственный писатель, не испытывавший на себе читательского кризиса. Читатель с самого начала стал валить к нему валом: «Фраза у меня короткая. Доступная бедным. Может быть поэтому у меня много читателей» — скромно замечает писатель («О себе, о критиках и о своей работе»).

Зощенко родился в 1895 году; по отцу — украинский дворянин. Дворянство его, впрочем, ограничивается паспортом. Отец Зощенки был художником - передвижником. Мать — русская, в молодости была актрисой. Вырос Зощенко в Петербурге. Учился плохо, хуже всего по русскому языку: на выпускном экзамене за сочинение по русскому языку о Тургеневских девушках он получил единицу и пытался покончить

Новоселье

с собой. В начале 1914 года, после годичного пребывания на юридическом факультете, откуда его исключили за невзнос платы, Зошенко поступил контролером на железную дорогу. Вспыхнувшая мировая война оборвала эту карьеру. Всю войну будущий писатель провел на фронте, сперва в чине прапорщика, потом командующего батальоном. Здесь, помимо ранения, он был отравлен газами. При Временном Правительстве Зошенко был назначен начальником почт и телеграфов и комендантом Главного Почтамта в Петербурге. В общем, прежде чем отдаться литературе, Зошенко переменял 10 или 12 профессий: был пограничником, красноармейцем, агентом уголовного розыска, инструктором по кролиководству и куроводству, старшим милиционером, столяром, сапожником и т. д.

Как и большинство советских писателей, Зошенко пришел в литературу из самой гущи сдвинувшейся жизни.

Первый успех выпал на его долю после «Рассказов Назара Ильича господина Синебрюхова» (1922 г.) Назар Ильич — «военный мужичок», бывший крестьянин, потом солдат мировой войны и, наконец, дезертир и шатун по свету. Его рассказы о своих переживаниях на войне и после того как «ход развития» его жизни похилился, бестолковы и сбивчивы: события, свидетелем которых ему случилось быть, вполне «мирового масштаба», но Синебрюхов явно «не освещен» в их смысле. Однако, несмотря на сбивчивость и незначительность личных переживаний Назара Ильича, от его рассказов нельзя оторваться. Секрет их успеха в том, что **функцию самой занимательной фавулы несет в них язык самого рассказчика**: смесь простонародного диалекта с наскоро и жадно усвоенными литературными оборотами. Назар Ильич — крестьянин только по паспорту (Зошенко вообще не крестьянский писатель и немногие его рассказы из крестьянской жизни у него слабы). По всему своему обличью Синебрюхов — представитель многомиллионного российского мещанства, которое до революции прозябало на окраине жизни и которому в один прекрасный день революция дала под микитки, выбросив его на середину улицы со словами: А-ну, действуй, братишка!

С самого начала своей литературной деятельности Зошенко заинтересовался массами этого городского трудового люда. До революции эти люди часто жили «как ходячие растения». Пришла революция, они приняли в ней активное уча-

стие. Но в силу многих и сложных причин на практике им трудно было использовать победу даже для своего приобщения к культуре. Ни в одной области не проявлялся этот феномен с такой отчетливостью, как именно в литературе и в публицистике. Здесь сконцентрировались более интеллигентные силы страны, но, как это часто бывает в отсталых странах, самый путь в интеллигенцию уже сопровождался известным отдалением от непосредственной жизни низов. В то время как в начале революции писатели и публицисты были поглощены освоением модных западно - европейских литературных явлений — простой народ все еще не владел элементарной литературной речью. И этот простой народ «в ударном порядке» стал учиться сам, на свой риск и страх, хватая новые слова, усваивая их по собственному разумению. Зощенко первый среди советских писателей почувствовал эту тягу к культуре народных низов и, как художник, откликнулся на это, пошел навстречу этой потребности.

Со всей силой своего таланта выступил Зощенко «аблакатом» трудовых масс. «Конечно, об чем говорить, персонажи, действительно, взяты невысокого полета. Не вожди, безусловно. Это просто, так сказать, **прочие граждане**, с ихними житейскими поступками и беспокойством» («Сирень цветет»). Но писатель не стесняется своих неважных «героев»: «Кому-нибудь надо откликнуться и на переживания других, скажем, средних людей, так сказать, не записанных в бархатную книгу жизни» («М. П. Синягин»).

Так создавались рассказы Зощенко, объединенные в сборники «Нервные люди», «Аристократка», «Уважаемые граждане», «Бледнолицые братья» и др. По существу в них нет «героев»; факты, взятые в основу каждой новеллы, сами по себе, выражаясь по-зощенковски, «безусловно мелкие», но каждый рассказ — открытая форточка, через которую доносится шум живой революционной улицы.

«Ну, чем разжиться безработному человеку в наше бедное время?» — «Да прямо сказать, нечем. Ну, спасибо, велосипед задавит. Ну, сорвешь руб - целковый с неосторожного проезжающего» — начинает Зощенко рассказ о том, как один безработный решил натравить на свои брюки нэмпанского пса. А пес, словно чувствует: нипочем не хочет «коснуться» до его брюк. В конце концов нашему герою все-же повезло: вышел у него «крупный разговор» с владельцем собаки и по-

Новоселье

следний даже ударил безработного по лицу. Видя всеобщее сочувствие улицы на своей стороне, надеялся безработный на этом происшествии «сорвать» не менее сорока целковых; под эту «безусловно верную» сумму чуткие соседи ему даже в долг дали. Да, вот, судья вместо штрафа присудил владельца собаки к 6 месяцам тюрьмы («Доходная статья»).

А вот «просто - напосто небольшой фактик с нашей Ленинградской жизни»: проживала в своей комнате пожилая женщина, безусловно лишенная «пролетарской идеологии». Заприметив неровность в стене, она смекнула: не иначе как кто -нибудь из жильцов - предшественников здесь клад запрятал. Позвала она знакомого рабочего и стали они «дорываться до народных кирпичей». Увы, никакого клада не нашли, одно простое оседание капитальной стены. Но тем временем жилец соседней квартиры, слышав подозрительные шорохи, тоже принялся за исследование стены. Упреждая критику, писатель иронически расшифровывает смысл сего рассказа: «В крайнем случае под этот фактик можно подвести базу: дескать, мелкобуржуазная стихия зашевелилась. Ищет клад. И тем самым хочет поправить свои пошатнувшиеся делишки. Теперь все получается в порядке дня» («Клад»).

Или анонимный рассказчик, обозревая к десятилетию революции «наши достижения», констатирует, что, действительно, достижения наблюдаются на каждом шагу. Взять, к примеру, транспорт. В 19-м году люди ездили всегда с перебоями: чуть - что остановка. В чем дело? — Топливо кончилось. Пассажиры вылезают из теплушек и идут в лес; нарубят, напилят там дров, митинг с речами произнесут и дальше едут. Однажды остановка вышла из - за того, что ветер сдул шапку с помощника машиниста. Кинулись все в лес за поисками. Нашли, вручили «шляпку» машинисту, «кто - то небольшую речь сказал о пользе шляп» и дальше поехали. А нынче — с дымкой меланхолии заканчивает рассказчик — «не только шапку — пассажира сдует, и то остановка будет не более одной минуты. Потому — время дорого. Надо ехать».

Как настоящий художник, Зошенко умеет передать живую жизнь сквозь самые незначительные мелочи: Ходит парень Гриша безработным. И знает: без протекции нынче ни почем работы не получить. В чайной разговорился на эту тему со знакомым возчиком. Оба согласны: без протекции человеку, действительно, «труба». Но случилось, что возчик в скором

времени перевозил мебель трестовского бухгалтера. Получая деньги, он и ввернул в разговоре про безработного Гришу, у которого нет протекции. Бухгалтер признал, что без протекции, действительно, плохо. Но на Гришино счастье в это время вошел в комнату помощник коммерческого директора. Поинтересовался: о чем, мол, беседа. И он, конечно, согласился — без протекции не проживешь. А тут вдруг пожаловал сам директор. Узнав о чем шла речь, он возьми да реши: Да в чем, мол, дело? Давайте устроим этого Гришу, пушай, мол, не треплются люди, что без протекции нельзя устроиться...

Одних таких коротких рассказов написал Зоценко свыше 1000. При всей пестроте их тем, они поддаются общей характеристике.

Из совокупности этих новелл встает пореволюционный русский город. Революция кончилась. Но ее дыханием еще полон воздух. Страшная бедность, нищета города и страны бьет в глаза на каждом шагу. Она существовала, конечно, и прежде. Но прежде ее тщательно скрывали, сейчас она вся на виду. Но революция лишила бедность того качества, которое сопутствует ей во всем мире: **она освободила бедность от гнетущего, тайного стыда за себя.** Беднота у Зоценко не только не стыдная, а даже чуть - чуть **озорная**, словно его бедняки говорят: мы в этой бедности ничуть не виноваты! Выставляя ее на показ, Зоценко словно говорит по адресу властей держащих: Вы там, которые на верху, не очень разоряйтесь по части грандиозных планов, больше себе под ноги глядите!

Трудовой люд в этом пореволюционном городе живет опять на окраине жизни, но старой демаркационной линии, отделявшей в прежнем обществе богатых от бедных, больше нет, или вернее — еще нет. Отсюда у бедных людей Зоценко **нет чувства своей социальной угнетенности.** Зоценковский пореволюционный город похож на нищего в сияющий солнечный день, его люди бедны какой - то **оптимистической бедностью.** Только очень молодой или потенциально очень богатый народ может так бодро нести свою бедность...

Наряду с короткими новеллами Зоценко принадлежит еще серия повестей, которые хочется выделить. Правда, Зоценко сердится, когда его повести выделяются в отдельную группу: «И повести, и мелкие рассказы я пишу одной и той же рукой. И у меня нет такого тонкого подразделения: вот, де-

скасть, сейчас я напишу собачью ерунду, а вот повесть для потомства». Тем не менее «Сентиментальные повести» Зощенко — замкнутый цикл, представляющий двойкий интерес. В них Зощенко выступает разоблачителем мешанства, бессознательно желая разрушить литературную традицию сочувствия к «забитому» человеку, родоначальником которого был Гоголевский Акакий Акакиевич. Но кроме этого, в каждую повесть вкраплен отрывок очень знаменательного «разговора» писателя с читателем.

В предисловии к повестям Зощенко пишет: «Эта книга специально написана о человеке во всей его неприглядной красе». И действительно, все герои как на подбор, маленькие люди, не только по своему положению в обществе, но и по своему моральному облику. Мелкий служащий Забежкин («Коза») женится на квартирной хозяйке, единственно оттого, что она — владелица козы, которую он заприметил на дворе. А коза в душевном хозяйстве Забежкина — олицетворение обеспеченности, какой-то неразменный рубль. С козой никогда не пропадешь, никакое увольнение не страшно — коза прокормит. Иван Иванович Белокопытов — в прошлом помещик, скуки ради проживший почти всю жизнь за-границей и вернувшийся на родину только после революции. У него есть знания, но применить их к бедной действительности он не может. С трудом он получает место служащего в кооперативной лавке. Но, соблазненный возможностью побаловать жену, он становится вором и теряет место («Люди»).

При всем богатстве интересных деталей, повести оставляют в читателе какое-то двойственное чувство. Оно возникает оттого, что все «герои» в сущности не совсем нормальные люди. Подробности их душевных переживаний, связанных с их **страхом перед жизнью** (см. особенно «Страшная ночь»), даны писателем с такой навязчивой остротой, что у читателя смех застревает в горле и внезапная догадка осеняет его: Да, ведь, они действительно больные! Но в таком случае — как же можно смеяться? В этой связи небезинтересно отметить, что позже Зощенко не раз признавался, что до 1926 года он — под влиянием отравления газами — страдал припадками острой депрессии и хандры и людей «почти ненавидел». Между тем, эти повести и написаны до 1927 г.

Но цикл этих повестей интересен еще и потому, что в каждой из них имеется отрывок разговора писателя, в целом пред-

ставляющий большой общественный интерес. Никто, кроме, пожалуй, А. Толстого, не думал так много, так серьезно, а порою и страстно, над новыми путями литературы, над «новым читателем», как именно Зощенко. Мысли этих двух писателей с самого начала были во многом полярны. Ход развития революции привел, как будто, к победе Толстого. Но поражение Зощенко (оно еще не окончательно!) в этом литературном диалоге лучше многих отвлеченных рассуждений вводит читателя в живую социально - психологическую проблематику русской революции.

«Фу, трудно до чего писать в литературе! Потом весь изойдешь, покуда продерешься через непроходимые дебри», маскируясь под незадачливого литератора, восклицает Зощенко («О чем пел соловей»).

«Трудно писать в литературе» оттого, что, с одной стороны, нет життя от официальной критики: она непременно требует сногшибательных героев и «ураганной идеологии». Неменьшая трудность воплощена, с другой стороны, и в самом новом читателе.

Только Зощенко не побоялся сказать то, что есть: за небольшими исключениями советская литература периода нэпа и еще больше эпохи «пятiletки» не пользуется популярностью у массового читателя: «Читатель пошел какой-то отчаянный. Накидывается он на французские и американские романы, а русскую отечественную литературу и в руки не берет». Происходит это по мнению Зощенко оттого, что советская литература «уныла»: «вместо веселых и радостных приключений описываются кровавые стычки из эпохи гражданской войны. Либо вообще чего-нибудь описывается, от чего клюешь носом» («Веселое приключение»).

Главная причина непопулярности литературы происходит по мнению Зощенко оттого, что читатель ждет от нее «этого сюжета чорт его знает какого». «А где это взять? Где взять этот стремительный полет фантазии, если российская действительность не такая?». Зощенко вовсе не отрицает того, что в русской действительности имеются «большие темы», скажем, революция. «Но здесь-то и получается опять-таки запятая»: «Стремительность тут есть. И есть величественная фантазия. А попробуй ее описать: скажут, неверно. Неправильно, скажут; научного, скажут, подхода нет к вопросу. Идеология, скажут, не ахти какая... Эх, уважаемый читатель!

— уже без иронии заканчивает Зошенко свою горькую отповедь по адресу официальной критики: — Беда как плохо быть русским писателем!».

Многое из того, что заметил Зошенко, видел и А. Толстой. Но из одних и тех же фактов оба писателя стали приходить к разным, иногда противоположным выводам. «Новый читатель» по мнению А. Толстого (см. его «Черную пятницу») утерять старую культуру и не приобрел новой; поэтому основной задачей писателя является **шефство над читателем**.

Глубоко - демократическому по всему своему мироощущению Зошенко чужда эта концепция шефства и **вождизма**. Писатель в представлении Зошенко, не вождь а **посредник**, облегчающий народным массам их прообщение к культуре. Вот почему с самого начала Зошенко, больше чем кто-либо из его современников, потратил труда на создание языка, доступного широчайшим массам народа. Этой работой над литературным языком, доступным и низам, Зошенко на деле, а не в ходульной декламации **закреплял победу этих трудящихся масс в революции**.

Себя Зошенко причисляет к школе **«натуралистов»**; по его глубокому убеждению эта школа является **«единственно - честной»**, которой принадлежит **«все будущее изящной русской литературы»**. В этом тоже был заложен корень длительного конфликта Зошенко с официальной критикой.

Официальная критика не жаловала **«показ живого человека»**, ибо этот показ разоблачал беспочвенность **«ураганной идеологии»**, попутно разоблачая миф о **«пролетариате - гегемоне»**. И критика не оставалась в долгу перед Зошенко, снижая этого замечательного писателя, обличая его **«мелкобуржуазность»**.

Не будучи марксистом, Зошенко чутьем подлинного художника почувствовал в революции ее демократический, **плебейский пафос** и всей душой прилепился к ней.

«Пролетарская революция подняла целый и громадный пласт новых, неопикуемых людей. Эти люди до революции жили, как ходячие растения. А сейчас они, худо-ли, хорошо — умеют писать и даже сочиняют стихи. И в этом самая большая и торжественная заслуга нашей эпохи. Вот в чем у меня никогда не было сомнения» — писал Зошенко в книге **«Письма к писателю»** (1930 г.).

Продолжая свою полемику с официальной критикой, Зо-

щенко там - же писал: «Я почти ничего не искажаю. Я пишу на том языке, на котором сейчас говорит и думает улица. Я сделал это не ради курьезов и не для того, чтобы точнее копировать жизнь. Я сделал это, чтобы заполнить хотя бы временно тот колоссальный разрыв, который произошел между литературой и улицей... И как бы судьба нашей страны ни обернулась, все равно поправка на легкий «народный» язык уже будет. Уже никогда не будут писать и говорить тем невыносимым суконным, интеллигентским языком, на котором многие еще пишут, вернее, дописывают. Дописывают так, как будто в стране ничего не случилось». Да, действительно, Зошенко намеревался взорвать традицию того языка, который доживал в русской литературе до революции. В этом и заключался тот «большой скандал», который он — как верно уловил Шкловский — собирался «вежливо» учинить. Зошенковский язык — результат громадной работы преданного народу художника. И, надо сказать, «прочие граждане» не остались в долгу перед писателем! Об этом свидетельствуют, кроме его популярности, и «Письма к писателю».

«Письма к писателю» — одна из самых интересных и живых книг в советской литературе. «Я эту книгу собрал для того, чтобы показать подлинную и неприкрытую жизнь подлинных и живых людей с их желаниями, вкусом и мыслями». Это сборник читательских писем к Зошенко, снабженный его комментариями. Корреспонденты Зошенко — рабочие, служащие, скучающие провинциальные девицы, мечтающие завести «роман» с известным писателем; но наряду с этим из провинциальной глуши получил писатель и первые проблески молодого, еще не распутившегося таланта и жалобы на иную, исковерканную жизнь. Здесь подлинно чувствуешь «дыхание жизни», только оно мало похоже на то, что «надышано» в таком множестве произведений других современников Зошенко.

В том же духе — живого общения с живыми людьми — написана и повесть «Возвращенная молодость» (1933 г.). Сама по себе повесть занимает не более 25 страниц, к ней имеются, однако, 50 страниц комментариев петитом. Сюжет ее несложен: Пожилой профессор астрономии Волосатов с каждым днем чувствует неминуемое приближение старости; он покорился этой неизбежности, но в душе у него растет бунт против этой неизбежности. Он бросается от одной крайности к другой: занимается гимнастикой, влюбляется в моло-

Новоселье

дую совбарышню и ради нее бросает свою семью. Дело кончается почти катастрофой: новая жена заводит роман на курорте, профессор опасно заболевает, возвращается блудным сыном в семью, долго хворает. Во время болезни он исцеляется от своего душевного недуга и вновь возвращается к нормальной жизни.

Интереснее всего комментарии писателя. Здесь очень подробно и вместе с тем доступно излагаются сложнейшие проблемы **автотерапии**, над которыми несомненно много думал сам Зощенко. Но наряду с этим писатель не забывает и своего основного дела — литературы. Все развитие современной советской литературы, по его мнению, идет по неправильному руслу. Благодаря тому, что современная литература занята обработкой 2-3 сюжетов из времен революции, вне поля зрения остается реальная жизнь и реальные запросы живых людей. Вследствие этого многие произведения советской литературы напоминают Зощенко **«рисунки пещерных жителей»**, изображавших «профиль с двумя глазами».

Но эти мысли Зощенко о необходимости иной тематики не имели ничего общего с модным одно время лозунгом изображения «счастливой и зажиточной жизни». Он продолжал бороться за **реализм**, за показ живого человека. Но именно в этот период — около 1935 года — между Зощенко и критикой, выражавшей пожелания верхов общества, стал назревать новый конфликт. Зощенко, автор выражения, смешившего целое поколение — о «несозвучности эпохе», сам стал ощущать свою «несозвучность».

О причине «несозвучности» Зощенко новой эпохе, рождавшей в нем чувство писательской неуверенности в себе, можно догадаться, если внимательно вдуматься в уже цитированную статью «О себе, о критиках и о своей работе» (1927 г.). В ней Зощенко, между прочим, писал: «Есть мнение, что сейчас заказан красный Лев Толстой. Видимо, заказ этот сделан каким-нибудь неосторожным издательством. Ибо вся жизнь, общественность и все окружение, в котором живет сейчас писатель, заказывают, конечно же, не красного Льва Толстого. И, если говорить о заказе, то заказана вещь в той неуважаемой, мелкой форме, с которой, по крайней мере, раньше, связывались плохие литературные традиции. Я взял подряд на этот заказ...».

Увы, анонимное «неосторожное издательство», над ко-

торым в 1927 году подтрунивал Зощенко, оказалось не столь уже недалеким. Экономические успехи «пятилетки» содействовали выдвижению на передний план жизни целой группы «строителей», «непартийных большевиков». Поставленные в привилегированное положение, они спешно стали обучаться тому «хорошему языку», на котором говорили верхи старого общества. Зощенко пришелся им не по вкусу: он слишком напоминал этим поднявшимся из низов людям их сумрачное детство. Они отдали свои симпатии Ал. Толстому, они ждали от автора «Петра 1» эпоса о своем собственном восхождении к власти. Это не могло не отразиться на Зощенко. Его писательский голос и, в частности, «Голубая книга», как и последние «Рассказы о Ленине для детей» — слабее его прежних вещей, носят следы неуверенности в себе этого большого, честного, насквозь демократического писателя.

Трагические события последних месяцев принесут новые изменения в советскую литературу и вновь призовут Зощенко на тот пост служения народу, на котором он уже так много и славно работал.

А В С Т Р А Л И Я

Если вы хотите солидных сведений об Австралии, обратитесь к Британской Энциклопедии. В ней вы найдете все, что может вас интересовать. Вы узнаете географические очертания страны, точное количество населения, особенности ее федеративного строя, сколько в год дают шерсти неисчислимые стада ее жирных овец, сколько пшеницы произрастает на обширных ее нивах. Прочитаете о черных туземцах центральных пустынь, которых от Мельбурна и Сиднея отделяют многие тысячелетия. Получите представление о мертвенных засухах, время от времени сжигающих поля, травы, рощи и скот; о грызунах, истребляющих посевы и урожай — труд и надежду целого поколения фермеров. О многом другом прочитаете, важным и значительном. В моей статейке — только несколько впечатлений мимолетных и несколько легкомысленных замечаний.

Первое мое впечатление от Австралии — после Сингапура, Бирмы, Явы и Индии, мест злободневных — Мельбурн, отель Виндзор. Вошел в холл и удивился: «Вот, нашли место для цветочной выставки!». Но никакая это не была, конечно, выставка. Просто, цветы — часть обстановки, как кресла, табуреты, столики, бронза, картины и ковры. Огромные, яркие, всех цветов радуги, пышных и неожиданных форм. Джунгли! Австралийские цветы не имеют аромата: местные патриоты обижаются, когда иностранец замечает эту странную особенность их флоры, очевидно потому, что живопись они привыкли ценить выше скульптуры, и скрипку любят больше, чем пианино... Нужно было мне несколько месяцев, чтобы привыкнуть к постоянному присутствию всюду цветов, цветов, цветов, в их ослепительной холодной красоте. Нет улицы, нет дома, нет окна без них. Щедрость природы, конечно, но и свидетельство о людях: не может быть печальна жизнь, в которой столько беззаботной и деятельной любви к бесполезной ро-

скоши природы. Нигде в мире не видал я столько людей в утренние и предвечерние часы предающихся спокойному удовольствию садоводства, за внешними оградами вилл и домиков, в глубине просторных цветников.

Известная степень привычки к тому, что люди обыкновенно называют «счастливой жизнью», нужна и для исключительной поглощенности страстными удовольствиями спорта — вторая черта австралийской жизни, поражающая европейца. Спортивные соревнования — крикет, футбол, плавание и не знаю еще что — не простое развлечение, не случайная забава для австралийца, а дело серьезное и основательное, во все времена года. В трамвае — вдруг, публика, вся, приподнимается с мест и сквозь окна тянет шею к небу. Что такое — цеппелин? Нет, — только отметки мелом на больших грифельных досках, прикрепленных к крышам, последних баллов очередного матча! В вечерней газете, большой, ответственной, полуаршинными буквами маншета: **Черная неделя для Австралии**». Повержен один из австралийских кумиров крикета, побитый англичанином! Если этих черточек мало, вот анекдот, воистину, исчерпывающий тему. Сажу в еврейской консистории при главной синагоге одного из самых крупных городов Австралии. Мой собеседник — председатель общины, крупный промышленник, традиционист. Дом у него «кошерный», обедая у него в субботний день, я должен был воздержаться от курения. Беседуем по важному вопросу. Замечаю, что-то нервничает мой собеседник, как будто бродит его мысль. Наконец, он не выдержал, позвонил службе и сказал: «сбегай, пожалуйста, посмотри отметки». Тот послушно в путь побег, принес справку (крикетную, разумеется), и милый мой собеседник, успокоившись, сосредоточился на нашем деле.

Но футбол, крикет, бокс, все это ничего в сравнении с конскими скачками. Вот, **это** — самое главное **то**. Скаковые поля связаны прямым проводом со всеми большими газетами страны. Скачки — достаточный повод для развода, как жестокость и измена. Словом, острохроническая страсть всякого австралийца. Кто только не имеет или не мечтает иметь скаковую лошадь, хотя бы одну? В Англии ор-д'эвром к деловому разговору является неизбежное замечание о погоде; в Австралии — о спорте, лошади, жокее, скачках.

Типичный строй австралийского города: деловой центр с магазинами, складами, мастерскими, банками, отелями, те-

Новоселье

дтрами, государственными учреждениями, большими и малыми церквями, а вокруг, на много верст во все стороны, жилищные предместья, просторные, тихие, светлые и многолиственные. К улице, ровной, как протянутая нить, за оградями — сад, садик, цветник; в глубине — вилла, дом, домик с мезонином, опять какая-нибудь зелень, гараж. В городе — труд, неторопливый, размеренный, но энергичный; в предместьях — продолжительный, усердный, интенсивный отдых. В наших перенапряженных, нервных городах стержнем жизни является утомляющий труд, отдых — торопливая, полуизможденная передышка, как пятнадцати-минутная ванна; в Австралии, казалось мне, этот порядок опрокинут: труд — необходимый и здоровый к жизни привесок, но не самая жизнь. В этом, пожалуй, нет ничего удивительного, если сообразить, что восемь миллионов людей располагают континентом, который свободно мог бы вместить сотню миллионов. Когда природа милостива и когда цены на шерсть и пшеницу не падают слишком низко, куда торопиться? Обилие прокормит, оденет и побалуует население без излишней с его стороны погони за колесом судьбы.

Свою Австралию австралийцы любят со страстью пронзительной и ревливой. И это больше, чем простая благодарность за «хорошую жизнь». В их любви есть оттенок драмы: они горделиво опьянены ее баснословными просторами, ее чудесной природой, омывающими ее океанами, и в то же время смущаемы своим малым числом: «ах, если бы нас было больше, ну, хоть бы миллионов двадцать!» — часто сквозит эта тоскливая мысль, неизреченной, в случайном замечании, в задумчивом взоре вашего собеседника. Получается своеобразная смесь двух комплексов — комплекса превосходства и комплекса недооценки. Противоречие это разрешается тем, что в строительстве своей национальной жизни австралийцы устремляют мечту в будущее. Они строят в соответствии не с нуждами 8 миллионов жителей, а с величием континента. Жалобы на расточительность австралийских бюджетов обычное явление. Я, например, удивлялся размерам, богатству, явной дороговизне некоторых железно-дорожных вокзалов на длинном пути между Мельбурном и Пертом. Дальние поезда идут не каждый день, пассажиров не Бог весть сколько, а вокзал грандиозный! На что это? В Сиднее (самый замечательный в мире висячий мост), небоскребы, достойные Нью Йорка,

здания банков из гранита и мрамора, почта очень большой роскоши и дороговизны — явно, не по чину тратят! Объяснение простое. Строители вокзалов считались не с количеством пассажиров, а с головокругительной далью расстояний, с исключительным величием пути. Забота тут была о гармонии не практической, а идеальной, умозрительной. В самом деле, как грандиозен этот, то живописно-нежный, то суровый путь, дальний - дальний, от моря к морю! Пустыни и леса, но какой лес и какая пустыня! Как фантастический сон, вспоминается мне одна такая, под Аделаидой. Сотня, может быть, верст красной земли — золото, кровь — в редких березово - белых деревьях и в сплошной розсыпи мелких кустов зеленой бронзы. Как обойтись скромным бревенчатым или кирпичным вокзалом? Да, да, но: «Ах, если бы нас было больше!»... И тут, в кругах политических, в эту безмолвную фразу всегда вкраплялась мысль о Японии. Признаюсь, я был весьма удивлен, когда еще в 1932 году за завтраком в Мельбурне, в редакции «Геральда» сэра Кита Мордака, одной из главных тем беседы была японская опасность. Она казалась мне такой далекой, такой мнимой.

Но чем их меньше, тем теснее они друг к другу жмутся. И чем они теснее, тем более равными себя чувствуют. Трудно представить себе атмосферу, более демократическую, чем австралийская. Австралийские девушки из народа, охотно работающие на фабриках и в мастерских, очень редко идут в прислуги. Горничные в богатых домах преимущественно иностранные — из Ирландии или Шотландии. Одна барыня в Мельбурне рассказывала мне с улыбкой, что ее прислуга — австралийка, как то вынесла отъезжавшему гостю, к автомобилю, его чемоданчик и, отвечая на прощальное его приветствие, сочла нужным сказать ему: «не забывайте же нас!»... Я ехал из Мельбурна в Перт — три дня езды. Узнаю, что этим же поездом едет австралийский федеральный премьер, мистер Ляйонс. Пожелал с ним познакомиться и через проводника вагона послал ему визитную карточку с ссылкой на общего приятеля в Мельбурне. Через некоторое время секретарь премьера пригласил меня в министерский вагон. Я спрашиваю себя, как же его величать: г. президентом или Превосходительством? Обращаюсь к соседу - инженеру за советом.

Ответ:

— Я бы просто говорил ему: Джо.

Новоселье

Смеялся, но это была Австралия...

Страстно любят австралийцы эту свою свободу, это чувство равенства. Я не сказал бы, что в высшем слое общества нет слегка иронического отношения к этому чувству масс. Члены тамошнего «английского клуба», как сказали бы в Москве в фамусовские времена, дамы, которые в Лондоне бьют на гарден - партис в Бюкингемском дворце и одеваются в Париже у Шанель, смотрят немного свысока на провинциальную и скучноватую благодать австралийского мещанства. Что и говорить, утонченной культуры там мало. Массы, как всюду, невежественны.

Интеллигенция, немногочисленная, но хорошего качества, страдает от большой изолированности Австралии — от Мельбурна до Тулона тридцать один день плавания на быстроходном пароходе. Приезд сколько нибудь интересного европейца — маленький праздник. Гастроль знаменитого артиста, хорошей балетной труппы — праздник большой. Все это так, но это морщинки жизни, общего ее лица не меняющие. Австралия страна глубоко свобододлюбивая и очень гордая.

Скажу в связи с этим, что вражеская сила, которая вторглась бы в Австралию, имела бы дело с народом решительным, непоколебимым, фанатическим в защите своей земли.

С неискоренимым чувством независимости отлично уживается острое сознание родства - единства с Англией. Для всякого австралийца Англия — «Дом» (Home). Молодожены, родившиеся в Австралии, никогда Англии не видавшие, отправляясь в первое путешествие в Европу, говорят: «прежде всего мы заедем домой», т. е. в Англию.

Что же такое австралиец?

Это человек, который сто пятьдесят лет назад был англичанином, но с того времени, перенесенный на другое полушарие, подвергался непрерывному действию суб - тропического солнца.

Полтора века этот красный диктатор воспламенял северный темперамент жителя туманной страны и по новому окрасил его характер, навязав ему новые условия быта. Жизнь его он из «дома-замка» вынес на открытый воздух. От зимнего домашнего очага, от рождественского камина, от сверчка на

С. Поляков - Литовцев

печи он погнал его на морские пляжи (около одного Сиднея их около ста), в пену почти всегда теплых волн океана, в светлые, безоблачные дали всегда летних дорог. Досуги свои выездные он проводит не среди сосен Шотландии, а под пальмами Фиджи.

Каждый вкус англичанина (например, спорт или любовь к свободе) у австралийца превратился в страсть.

АМЕРИКАНСКИЕ ПОЭТЫ

Американская поэзия, как творчество, отражающее национальное лицо Соединенных Штатов, существует сравнительно недавно. Это и понятно. Америка — страна очень молодая. Но, унаследовавши великолепный язык и древнюю культуру Англии, американцы не должны были, как другие народы, как мы, русские, блуждать несколько столетий в потемках. Первый американский поселенец на берегах Новой Англии имел за собой богатое литературное прошлое. Но в этом, в значительной степени, заключается и несчастье Америки: она была долгое время зависима от Англии, и ее литературная внешность была английской, а не американской. Эдгар Поэ мог быть и английским поэтом: в нем нет ничего, что определяло бы его американскую национальность.

В прозе перелом произошел раньше, чем в поэзии: Брет Гарт и Марк Твэн уже были типичными американцами. Поэты же все еще оставались англичанами. Лонгфелло написал американскую поэму «Гайавату», но и она является типичной только этнографически. Киплинг не хуже писал об Индии. Я не собираюсь говорить о постепенном росте американского сознания и его отображении в поэзии. Отмечу только, что национальным поэтом я считаю не поэта, пишущего на национальные темы, а того, в чьем творчестве воплощаются черты его народа.

Расцвет национального поэтического творчества в Америке надо отнести к нынешнему столетию; оно стало определяться после гражданской войны; к началу девятисотых годов оно стало приобретать определенный облик; после мировой войны оно нашло себя.

Как и у нас в России, в Америке поэзия развивалась и самоопределялась не в одном, а в нескольких направлениях.

У нас были: Петербург, Москва, Одесса.

В Соединенных Штатах — Нью Йорк, Чикаго, Бостон.

Бостон долгое время был духовной столицей Америки, хотя во многих отношениях он слишком тесно связан — даже до сих пор — с Англией. В Бостоне жила духовная аристократия. В Нью - Йорке, с его огромным разночинно - демократическим населением, складывалось своеобразное творчество, предвестником которого был Волт Витман. Была и четвертая группа: поэтов эстетов, не любивших своего неотесанного отечества и ушедших в добровольное изгнание — в Англию или во Францию. Начну с Чикаго.

Шестьдесят лет тому назад Чикаго еще было деревней. Теперь это громадное «село» с населением в несколько миллионов. В своей основе город изменился мало. Несмотря на внешний лоск, Чикаго осталось столицей прерий, городом пионеров, людей некогда дравшихся с индейцами и самосудом расправлявшихся с правонарушителями.

Пионерское прошлое и индустриальное настоящее наложили глубокий отпечаток на творчество Карла Сэндбурга, Эдгара Ли Мэстерса, Вейчеля Линдзей, Хэрриет Монроэ, Максвелл Боденгейма и других.

Хэрриет Монроэ сыграла очень большую роль в развитии и истории американской поэзии. Она сама — талантливая поэтесса, но не в этом главное ее значение. Хэрриет Монроэ, недовольная тем, что американские «толстые» журналы не печатали многих поэтов, уговорила 100 богатых чикагцев вносить по 50 долларов ежегодно в фонд журнала, посвященного исключительно поэзии. Таким образом был создан журнал «Poetry: A Magazine of Verse». («Поэзия — журнал стихотворства»). Этот журнал вывел в свет многих поэтов, ныне знаменитых. Он играл и все еще играет большую роль в духовной жизни США.

Хэрриет Монроэ, чуткий поэт и подлинный знаток поэзии, собрала вокруг журнала плеяду талантливых стихотворцев. Ее собственные стихи не отличаются особенной оригинальностью — она была слишком долго под влиянием имажинистов. Но в истории американской поэзии ее имя занимает почетное место.

В чикагской группе царят три великих поэта: Линдзей, Сэндбург, Мэстерс. Эдгар Ли Мэстерс родился в штате Кэнзес в 1869 году. Вскоре семья его переехала в штат Иллинойс, где отец его занимался адвокатской практикой. Идя по стопам родителя, Эдгар Ли Мэстерс тоже стал адвокатом. Он практико-

вал в Чикаго. Одновременно с этим он интересовался литературой, писал стихи и драмы под различными псевдонимами, на которые никто не обращал внимания. В 1913 году вышла в свет книга «Антология Спун Ривер». Мэстерс стал знаменитостью.

Спун Ривер — типичный провинциальный городок среднего запада, т. е. подлинной Америки. Спун Ривер — американский Тамбов, «на карте генеральной не всегда отмеченный значком». В Спун Ривере, как и во всех Тамбовах мира, люди, любили и ненавидели, страдали и были счастливы, радовались, и печалились. В Спун Ривере были негодяи и честные люди, обыватели, поэты, адвокаты, врачи и торговцы.

Но Спун Ривер находится в Иллинойсе, на родине Линкольна, великого печальника американского народа. Благодаря Линкольну и Мэстерсу Спун Риверу все же суждено было попасть на «генеральную карту». За «Антологией» последовали другие книги стихов, весьма хороших, но значительно менее оригинальных.

Ведь в Спун Ривере жила Энн Рутледж, в которую когда-то был влюблен Линкольн, и проститутка Дейзи Фрейзер, которую судья Арнетт штрафовал неоднократно и которая гордилась тем, что поддерживает казну, и Молли Мэнги, которая из-за мужа потеряла молодость и красоту, и редактор Ведок, который брал взятки у кандидатов во время выборов, и Арчибалд Хигби, художник ездивший в Рим, но не научившийся рисовать, ибо каждый раз у него, вместо Аполлона Бельведерского получался некрасивый и неотесанный «Эйб» Линкольн...

В Спун Ривере жила Америка.

Вейчел Линдзей родился в городе Спрингфильде, в штате Иллинойс. Его отец был врачом, и Линдзей получил хорошее воспитание и образование. Он посещал колледж, затем художественную академию и занялся профессией, к которой его не влекло. Потом он все это бросил и пошел странствовать по штатам. Линдзей стал современным бродячим трубадуром.

Он шел из штата в штат, останавливаясь в каждом поселке и обменивая на обед или ужин свою первую книгу замечательных стихов:

«Рифмы, обменивающиеся на хлеб».

Откуда-то (откуда именно, никто теперь не помнит)

Линдзей послал в журнал «Поэтри» стихотворение «Генерал Бут входит в небеса».

Это было в 1913 году. Монроэ пригласила его в Чикаго. Линдзей приехал. На банкете в честь знаменитого ирландского поэта Вильяма Изйтса Линдзей прочитал другое изумительное стихотворение «Конго».

Какой-то критик назвал Линдзее «Дон - Кихотом американской поэзии». Это не совсем правильно. У Дон - Кихота не было чувства юмора, у Линдзее же юмор в изобилии. Он человек, любит жизнь и все, что в жизни происходит. Он любит автомобили на пыльной дороге Кэнзеса, и негритянские дикие напевы, и генерала армии спасения Бута, и даже Симона Легри из «Хижины дяди Тома», играющего с дьяволом в кости, и мудрого, как Конфуций, китайца, владельца прачешного заведения, и электрические вывески в центре Чикаго, на которых «отражены небесные звезды» и Вильяма Дженнингса Брайна, типичного, как и сам Линдзей американца, и, конечно, Линкольна: ведь Линдзей сам родился в Спрингфилде.

Если Линдзей романтик и трубадур современной Америки, и если Мэстерс певец ее уходящей жизни, Карл Сэндбург — поэт настоящего и будущего. Он тоже родился в штате Иллинойс, в бедной семье шведских иммигрантов. Он получил скудное образование, бродил по стране, был поваром, поденщиком на ферме, чернорабочим, фабричным служащим, статистом в театре и т. д. Он поступил во время войны с Испанией в Американскую армию и служил на Порто Рико. Вернувшись домой после войны, он, на сбереженное солдатское жалованье, поступил в колледж.

Сэндбург пописывал стихи. Его раннее творчество носит отпечаток Витмэна. В 1914 году — ему было тогда 36 лет — в журнале «Поэтри» появились его «Чикагские Стихи». Они потрясли Америку.

Творчество Сэндбурга — гранитная твердость американских скандинавцев. Он порой неуклюж, часто косноязычен, но в его стихах чувствуется ритм современной Америки, в них дыхание прерий Иллинойса, Мичигана и Висконсина, похожих на русские степи.

Сэндбург пишет белыми стихами, он — совершенная противоположность Линдзее — не признает рифм, а только «пульс стихов». В американской поэзии он также и новатор, так как говорит на языке обыденном, ежедневном, и в то же

Новоселье

время металлически - звонком и чрезвычайно богатом (его проза, в частности монументальная биография Линкольна, является не только выдающимся историческим трудом, но и большим художественным произведением). За «Чикагскими стихами» последовали другие, не менее интересные и значительные книги стихов. В одной из них «Дым и Сталь», он тоже воспевает Чикаго, великий «широкоплечий город», «мясника всего мира», «хранителя пшеницы», подлинную столицу настоящей Америки.

Ю. БРУЦКУС.

СЕРЕБРЯНЫЙ БУГОР

На отдаленном берегу Каспийского моря, между лазоревым заливом и выжженной солнцем закаспийской степью, лежит вольная туркменская республика Гумыш - Тепе (Серебряный бугор). Русская граница еще в 1881 году, при завоевании Закаспия, проведена была в 60 верстах к северу от Серебряного Бугра по реке Атреку и его широкому устью, образующему большой залив Гасан - Кулы. Вдоль этой реки были разбросаны отряды пограничной стражи, по 30 человек в станицах, расположенных в 30 верстах друг от друга.

Южнее этой линии ни русские солдаты, ни чиновники не смели показываться, так как тут начиналась страна вольных воинственных туркменов. Они были совершенно независимы и не признавали власти Персии, к которой принадлежали по международным договорам. В восточной части этой степной полосы, тянувшейся в ширину от реки Атрека на севере до Узуна верст на восемьдесят и в длину от моря на восток верст на четыреста, жили кочевые племена гокланов, акатабаев и других. На западе у моря были селения оседлых туркменов, по имени Огурджали, что по русски значит Воровские. Откуда они получили такое странное прозвище, неизвестно, но я думаю, что оно указывает на их пиратскую деятельность в прежние века. Впрочем, они сами ничего дурного в этом имени не видели, подобно тому, как шведы и норвежцы и теперь не гнушаются именем своих предков викингов, происходящим также от занятия пиратством. Живут в настоящее время эти туркмены Огурджали оседло, в небольших селениях по берегу лазоревому Каспийского моря, одни под русской властью около Чикишляра, другие в ничьей земле в вольном городе Гумыш - Тепе.

В 1904 - 5 году мне пришлось более полугода прожить среди этих вольным туркменом, в условиях их первобытной

жизни. Попал я сперва в большой аул Гасан - Кулы, который был расположен на песчаной косе, между морем и заливом. Жило в ауле около трех тысяч человек туркменов в войлочных юртах, которые летом отчасти раскрывались, а зимой покрывались двумя слоями войлока. Попал я в эту дикую страну для борьбы с холерной эпидемией, которая тогда свирепствовала в соседней северной Персии. Перед отъездом из областного города Асхабада начальство меня предупредило, что туркмены - огурджали народ воинственный, смелый, неподатливый, и что в случае появления холеры могут быть различные неприятности. Но я эти холерные неприятности видел уже во время студенчества среди русских крестьян и не особенно испугался.

Народ туркменский в Чикишляре, Гасан - Кулах и в вольной республике действительно оказался не только мужественным и гордым, но и честным и благородным. Сжился я с ними очень скоро, так как за отсутствием холеры занялся лечением болезней. Среди населения, никогда не видевшего врача, не трудно было прославиться. Вскоре каждое утро вокруг моей большой юрты стал собираться целый лагерь болящих. Выдергивание зубов и прижигание трахомных глаз производило большой эффект, а об излечении застарелых сифилитиков рассказывали, как о чуде, по всей далекой степи. Вскоре у меня появилось и много друзей из близких и отдаленных становищ; благодаря учебнику, я стал кое - как сговариваться с новыми приятелями.

Аул Гасан-Кулы лежал на песчаной безводной косе. Воду для питья и пищи приходилось привозить из Персии за 70 верст в особых водяных лодках. Верстах в 4 от аула имелось несколько колодцев, но вода в них была соленая, годная только для скота, да и то в небольшом количестве.

Поэтому и все скотоводство аула ограничивалось небольшим количеством верблюдов, овец и лошадей. Сено тоже приходилось возить издалека, так как ближайшее к морю пространство представляло собою голый песок, почти неизменившееся морское дно, которое веками поднимается на всем восточном берегу Каспийского моря. Жили мои пиратские туркмены, главным образом, рыболовством и охотой. На заливе ловили рыбу — сазана и сельдь, сетями, часто просто ведрами, а в море — крупную белугу, осетрину, белорыбицу — кряками, которые длинными рядами расставлялись

вдали от берегов. Самые лучшие рыболовные места около южного персидского берега были на откупе у русской фирмы Лайонозова, а потому туркмены должны были заходить далеко на море. Рыбачили они на больших трехмачтовых лодках, которые сами строили первобытным способом, почти без железных частей и даже с деревянными гвоздями. Зимой главным занятием была охота. Сюда на Гасанкулинский залив прилетало множество птиц из Восточной России. Одних уток я насчитал 23 вида. Водилось также не мало гусей, лебедей, пеликанов, фламинго, в степи было много дроф. Уток и гусей туркмены ловили сетями, чтобы не расстрачивать порошу и дробы. Муку и фрукты приходилось привозить из Персии или Баку. Пекли хлеб на горячем камне, зерно часто мололи ручным способом на жерновах. Топливом служил саксаул; это низкорослое дерево с очень толстыми корнями, уходящими глубоко в песок. Топят этими корнями, которые раскладывают на камнях среди юрты под круглым отверстием крыши, куда уходит дым. Жизнь аула протекала спокойно, потребности были очень скромны и удовлетворялись благодаря продаже рыбы и икры. От прежней воинственности осталось мало следов, хотя у каждого туркмена сохранялось ружье, иногда старая винтовка или английский винчестер, но большей частью самодельный, т. е. кремневое ружье с длинным дулом и рогулькой. Семейные нравы были примерные, хотя часто встречалось двоеженство. Для 17 летнего мальчика покупали вдову лет 30. Она ценилась выше молодой девушки, так как умела вести хозяйство, шить одежду, ткать ковры. Когда она становилась старше, муж покупал вторую, совсем молоденькую жену, которая поступала под начало первой жены. В семье я никогда не замечал ссор.

Муж никогда не бил ни жены, ни детей, которые шумели только во время заката солнца, перед сном.

Туркмены были удивительно честны. Они никогда не лгали, а если у кого случался такой промах, то другие относились к нему с большим презрением и говорили про него, что он «лицо потерял». Краж в ауле тоже не было. Когда я увидел в степи потерянную сумку и велел моему проводнику поднять ее, он ответил, что это не полагается: «хозяин потерял, хозяин вернется». Но вместе с тем туркмены не видели ничего дурного в нападении на отдаленные персидские деревни и в захвате скота (аламан). Аламань происходили и среди соседних туркменских племен и вызывали междоусобные войны.

Новоселье

Влияния религии совершенно не замечалось. Хотя туркмены считали себя магометанами, но пятницы, праздников и постов почти не соблюдали. Малограмотный мулла в Гасан - Кулах читал Коран, но смысла арабских слов не понимал. Обучал он механическому чтению молитв нескольким мальчикам из более состоятельных семейств. Жизнь руководилась не религией, а обычаям — адатом. Вся обстановка напоминала быт индейцев или малайцев. В степи среди номадов я уже вовсе не встречал ни мечетей, ни мулл.

Ввиду усиленных просьб навещать тяжело больных, мне приходилось часто совершать поездки верхом по дикой степи и знакомиться с жизнью кочевников. Они зимой жили на юге на ничьей земле, а к весне передвигались на север в русские пределы и часто доходили до вечно зеленой широкой ложбины Узбоя, высохшего рукава Аму Дарьи. Эти туркмены считались двоеданниками, т. е. двойными подданными, но в сущности никакой власти не признавали, ни русской, ни персидской, и никому податей не платили.

Мне рассказывали, что в прежние времена один Чикишлярский пристав осмеливался делать налеты на кочевников, чтобы взимать кибиточный сбор, по 5 рублей с юрты. Но это было слишком опасно, и в мое время пристав удовлетворялся подарками от старшин, а кочевников оставлял в покое. Жизнь кочевников напоминала мне библейские рассказы про Авраама, Исаака и Иакова. Когда я раз сидел у Боржок - Хана на коврах его палатки и пил кофе с разными угощениями, приехал неожиданно его старший сын из далекого кочевья, обмыл запыленные ноги перед кибиткой и смиренно поклонился отцу и дорогим гостям. Отец спросил у нас, разрешаем ли мы его сыну сесть рядом с нами. Про Боржок - Хана, жившего далеко в степи, шли недобрые слухи, что он не только занимается аламанями, нападая на персидские села, но и забирает пленных, за которых требует выкупа. Пленных девушек он продавал в жены окрестным туркменам. Я мог убедиться на обратном пути, что эти слухи не были преувеличены. Уже вечерело, когда я с моим верным проводником выезжал из табора Боржок - Хана. Вдруг проводник остановил мою лошадь у одной юрты и предложил посмотреть внутрь через щель. Я увидел какого то человека, лежащего на войлоке и прикованного цепью к столбу двери. Не успел я присмотреться, как туркмен сильно хлестнул мою лошадь. Я чуть не вылетел из седла, и

мы оба помчались галопом в степь. Когда мы замедлили шаг, я начал ругаться, но переводчик объяснил, что Боржок - Хан, несмотря на все гостеприимство, мог за наше любопытство пустить нам пулю в догонку. Боржок - Хан не любил, чтобы русские знали про его частные дела в Персии.

Вообще туркмены старались держаться подальше от русских чиновников, как полицейских, так и таможенных. Добра от них они не видели, полицейские только грабили, а редкие таможенники придирались к товарам, которые часто шли без пошлины из Персии или из соседней вольной республики. С русскими пограничными солдатами туркмены жили мирно и делились с ним контрабандой, да и солдаты, разбросанные маленькими группами в далекой степи, не особенно ретиво гнались за вооруженными большими караванами контрабандистов, шедших из приморского города Гумыш - Тепе через степи Усть - Юрта до отдаленной Хивы. Главными предметами этой торговли были русский сахар и чай. Туркменские лодочники брали сахар и чай в Баку, получали возврат пошлин и вывозные премии и увозили товар через море в вольную республику Гумыш - Тепе. Оттуда товар вооруженными караванами возвращался обратно в русские пределы. Большею частью все проходило мирно, но иногда ретивый пограничный офицер или солдат, не поладив с туркменами, начинал гверилью.. Это было довольно опасно и случалось очень редко, и то по соглашению с каким - нибудь конкурирующим туркменским племенем.

Крайне заинтересованные контрабандной торговлей, вольные туркмены не впускали в Гумыш - Тепе ни персов, ни русских. С большим трудом мне удалось добиться у главы одного из местных кланов, приехавшего ко мне лечиться, разрешения приехать туда вместе с моим помощником студентом и бывшим офицером из чеченцев, служившим на одном из рыбных промыслов Лионозова. Помогло нам и то обстоятельство, что осенью 1904 года начались столкновения между вольной республикой и персидским правительством. Наводя порядок в стране, шах пригласил бельгийских директоров в таможенное ведомство и назначил много грамотных чиновников. Один таможенник явился на шлюпке с десятью солдатами, стал перед гаванью вольного города и начал взимать с каждого судна небольшой налог. Это привело в ярость граждан республики. Они увидели в этом желание подчинить их неверным шиитам (все

Новоселье

туркмены - сунниты) и присоединить к Персии. Туркмены немедленно вооружились, взяли в плен чиновника с солдатами и жестоко их выпороли. Затем снарядили морскую экспедицию к персидским берегам, ограбили несколько селений и, между прочим, роскошный прибрежный замок шаха, где нашли также несколько старинных пушек. Благодаря этой войне с персами главари республики и решили отнестись более терпимо к нашему посещению. Я, между прочим, заявил, что хочу дать им советы, как предупредить занос холеры из Персии, где она тогда сильно свирепствовала.

Поехали мы на большой трехпарусной рыбацкой лодке, прошли сперва за 70 верст к речке, снабжавшей наш аул водой, переночевали среди моря на рыбном промысле и лишь утром под'ехали к Серебряному Бугру. Гавань состояла из расширенного устья речки, которое тянулось на полверсты среди тростников. Город, насчитывавший до 6000 жителей, расположен был на холме и состоял из большого количества деревянных домов и юрт. В городе была одна большая каменная мечеть с аркой и изразцами такого же типа, как в Туркестане.

Принял нас с большим почетом. Угостили огромным блюдом пилава (риса) с курятиной. Вокруг сидели на ковре около 20 человек, а за ними стояли слуги с полотенцами. Ели, конечно, пальцами, но, к счастью, нас троих поместили рядом у одного края блюда.

После угощения и кофе нас первым делом повели на военное состязание. Ружей было изобилие. Был даже огромный старинный мулдук с широчайшим дулом, нечто вроде самодельной пушки. Кроме того, показали нам четыре пушки, взятые в шахском замке. Они тоже были старинного образца и заряжались с дула. Для состязания в стрельбе расставили ряд пустых бутылок. Надо было попасть в горлышко, и мы могли убедиться, что вольные туркмены очень хорошо стреляют.

При обходе города мы могли отметить состоятельность его жителей. Главными промыслами были рыбная ловля, скотоводство и контрабанда. Все население делилось на четыре клана с отдельными старшинами и муллами. Суд совершался главным кадием, как они говорили, по шарияту, но, вероятнее, по местным обычаям.

Я полюбопытствовал, какое наказание полагается за убийство, и вызвал этим вопросом большое удивление у моего собеседника, видного купца, бывавшего часто и в Баку. «За

убийство суда и наказание нет; твоя моя убил, ну моя твоя убил». Я понял, что за убийство полагается только кровавая месть, и что обращаться в этом случае к суду даже зазорно. «Ну, а как часто случаются убийства?», спросил я и получил ответ: один раз в десять лет.

Пришлось мне побывать и во многих домах во время посещения больных. К лечению здесь свободно прибегали и женщины, которые вообще у туркмен не запираются в домах, а ходят свободно без вуалей по улицам. Влияние магометанской суннитской религии и тут незначительно, в отличие от фанатизма и суеверия персов - шиитов.

Перед прощанием старшины позвали нас на открытое совещание, рассказали о столкновении с персами и попросили показать им, как стрелять из пушек и как готовить порох. Мы охотно согласились, но заявили, что для пороха нужен ряд химических матерьялов, список которых мы им дадим, и когда они все привезут из Баку, мы снова приедем. Старшины остались очень довольны и сердечно проводили нас. Что касается меня лично, то они уговаривали меня поселиться у них и уверяли, что я скоро стану самым почетным и богатым гражданином республики. Они даже предлагали уступить мне в жены самую красивую из пленных персианок. Моя иудейская религия, по их мнению, не являлась препятствием для брака.

Счастье было так близко, так возможно. Я мог жить, жить по разуму, без заскорузлых предрассудков, без общественного неравенства и несправедливости в вольной республике, где царит дружба и благоволение между людьми в гораздо больших размерах, чем в так называемом цивилизованном мире. И тем не менее я отказался.

Старшины Серебряного Бугра не могли понять причины, и все доказывали мне, что в их городе Гумыш - Тепе люди чище, лучше, свободнее, богаче и добрее, чем в Баку.

Мы простились с гражданами вольной республики, переночевали опять на промыслах среди моря и утром отплыли домой. По дороге по обыкновению мираж все время показывал нам одинокого путника на верблюде среди голой степи.

К вечеру мы благополучно прибыли обратно в Гасан-Кулы, аул наших благородных туркмен, которых совершенно напрасно прозвали Огурджали. В вольную республику я больше не возвращался, так как вскоре появилась там холера и все сношения с Серебряным Бугром были прерваны.

КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ

О ПЯТОЙ КОЛОННЕ.

Название «пятая колонна» вошло в обиход со времен гражданской войны. Крылатое выражение о пятой колонне приписывается генералу Франко.

Но пятиколонная деятельность не нова, и даже Троянский конь не отличался особенной оригинальностью.

Наше понятие о пятой колонне несколько расплывчато. Иногда мы не видим даже разницы между шпионом и пятиколонником, хотя пятая колонна не занимается доставкой сведений правительству, которое она обслуживает. Это дело шпионов. Пятая колонна не занимается саботажем, это дело наемных саботажников. Пятиколонное искусство совсем другого рода и оно направлено, главным образом, на деморализацию изнутри, на подрыв народного единства, на восстановление одной части населения против другой, одной расовой группы против другой.

В Америке проблема пятой колонны более остра, чем в других странах. Немцы и итальянцы, являющиеся в условиях нынешней войны потенциальными пятиколонниками, составляют значительный процент американского населения. В Нью Йорке, например, больше итальянцев, чем в Венеции и Флоренции, и больше немцев, чем в Мюнхене.

Американские законы все еще весьма мягки: лишь недавно федеральное следственное бюро узнало, что оно не имеет права вызывать на допрос в Вашингтон, а главной функцией федерального бюро является, именно, борьба с пятой колонной.

Один из самых лучших и благодарных приемов пятой колонны — это разжигание расовой ненависти. Германский «Бунд», «Серебряные рубахи», «Рыцари белой камелии», «Ку-клукс-клан» занимались пропагандой антисемитской, антинегритянской, и, вообще, антиинородческой. «100-процентный американизм» Клана или серебрянорубашечников является на деле стопроцентным анти-американизмом.

Пятая колонна, ставя себе целью деморализацию целого народа,

прикрывается высокими лозунгами и благородно звучащими словами, которые привлекают политически-неграмотных и идейных дураков.

Мы знаем, как удачно действовала пятая колонна в Европе и как она помогла Гитлеру.

В Голландии, например, где нет и не было вопроса о германском меньшинстве, вдруг, задолго до вторжения, образовалась «Лига голландских немцев». Все члены этой Лиги подчинялись партии и гестапо. Все были пятиколонниками. Для них это было выгодно во многих отношениях: их родню в Райхе не трогали, они имели сами возможность жить вне Германии, питаться и одеваться лучше, чем их соотечественники; их не отзывали в Райх на тяжелые работы, они держались прочно на своих должностях (в Голландии, как и Южной Америки, значительная часть торговых и промышленных предприятий находится в руках немецких подданных).

«Лига голландских немцев», как и все организации подобного рода, работала на Гитлера. То, что произошло в Голландии, повторилось и повторяется в других странах.

В Англии некоторое время тому назад в финансовом журнале появилась статья о министре США Моргантау. В ней министр финансов Моргантау был причислен к разряду международных банкиров и именовался «Моргантау». Когда на статью было обращено должное внимание, и началось расследование, выяснилось, что ее автор — вражеский агент.

Пятая колонна во Франции утверждала, что англичане будут воевать до последнего француза. В Англии она твердит, что Америка желает овладеть всеми английскими колониями. В Америке она говорит то же, что говорила во Франции: Англия будет драться до последнего американца. В Турции она распространяет слух, что Россия и Англия собираются напасть на Дарданеллы. В Южной Америке ведется пропаганда против «империализма янки», — несмотря на то, что с приходом Рузвельта к власти, «долларовая дипломатия» была упразднена окончательно.

Осужденный недавно Георг Сильвестр Фирек был типичным пятиколонником. Он сочинял речи для изоляционистского сенатора Лундина. Он написал несколько книг об английском империализме, — подрыв доверия к Англии является теперь самым главным занятием пятой колонны.

Он был в тесной связи с фашистскими лидерами американских группировок. После вторжения Гитлера в Россию он их снабжал литературой и статьями о «торжестве большевизма» после войны.

Новоселье

И все же распознать пятую колонну легко. Еще легче угадать прямые или косвенные результаты пятиколонной пропаганды.

Если англичанин вам скажет, что ему дороги интересы Англии, но что он не доверяет России и Америке; если американец вам скажет, что он американский патриот, но не доверяет России и Англии, эти люди — вольно или невольно — работают на пятую колонну.

Д. Браун.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.

Семьсот лет тому назад немецкие меченосцы, покорившие Ливов и Эстов, двинулись на Новгородскую Русь и захватили Псков. Суздальский князь Ярослав, княживший в то время в Новгороде, поставил во главе русского войска своего сына Александра. Несмотря на молодость — ему было тогда 22 года — Александр был мужественным полководцем и выказал свои дарования в войне против шведов. Он знал, что тевтоны готовят русским печальную участь ливов и эстов, и стремительным маршем пошел на выручку Пскова. Немецкие стражи с изумлением увидели под стенами Пскова лес русских копий и рогатин: меченосцы не ждали такого быстрого нападения. Но после освобождения Пскова Александр отступил, ища места, на котором он мог бы принять бой с главными немецкими силами. Он остановился у Чудова озера, возле урочищ Узменя и Вороньего камня. Там, в субботу 5 апреля 1242 г., с раннего утра началась великая битва, вошедшая в историю под именем «Ледового побоища».

Германские рыцари в белых плащах с черным крестом на левом плече, в шлемах с узкими прорезями для глаз, построились клином, «свиньей», как это называли в то время, и ударили на русских. Но против их ожидания, русские ряды не дрогнули, а только расступились перед напором закованных в железо тевтонов. Обремененные тяжелыми доспехами, немцы сбились в кучу и не могли свободно маневрировать. Кровавое сражение длилось до сумерек, но когда Александр вывел из под скал запасную дружину, немцы дрогнули и побежали. Летописец говорит, что «сеча была зла и велика и трус от копей ломленья и звук от мечного сеченья и не бе видети

озера, покрыло бо есть все кровью». Александр гнал врага на протяжении семи верст — и вся дорога была усеяна труппами немецких рыцарей.

Битва при Чудове озере остановила германский натиск на восток. Немецкие рыцари должны были отказаться от притязаний на Псков, и от всех своих завоеваний. Александр Невский охранил Русь от немецкого нашествия. Недаром сейчас, через семь столетий после поражения у Чудова озера, Гитлер заявляет, что движение Рейха на восток должно начаться с того места, на котором были задержаны рыцари меченосцы.

В Советской России имя Александра Невского постоянно упоминается при перечислении наших национальных героев. Свидетельством его популярности является известный фильм Эйзенштейна, изображающий борьбу великого князя с шведами и немцами. В настоящий момент семисотлетие «Ледового побоища» приобретает особый и знаменательный характер: в дни, когда русский народ героически борется с немецкими ордами, воспоминание о далекой победе над вековым врагом укрепляет нашу веру в близкое поражение фашистских сил и в конечное торжество нашей родины.

М. С.

ПЕРВЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

В 1808 г. вышел журнал «Драматический Вестник». До него «Зритель» и «Московский Журнал» отводили место театральному отделу, специального же журнала, посвященного всецело театру не было. Его предшественником был изданный в Москве «Драматический словарь», содержащий в алфавитном порядке: названия пьес, авторов, переводчиков и с краткими отзывами о каждой пьесе — ее содержание, успех или неуспех на сцене. Мысль о зарождении нового театрального журнала

принадлежала кн. Шаховскому. Сотрудниками он пригласил: И. А. Крылова, помещавшего свои басни, А. И. Писарева, известного писателя - водевилиста, Языкова, Марина, кн. Шихматова, Державина, Дмитриева, Жихарева и др.

У писателей «Драматического Вестника» была странная тенденция — скрывать имена свои от читателей. Редкие статьи подписывались фамилией, в большинстве же ставили инициалы, а иногда звездочки. Для случайных же сотрудников было

Новоселье

довольно курьезное правило: обязанность присылать статьи без подписи фамилий с одним девизом, а в отделном запечатанном конверте должна была находиться настоящая фамилия и адрес. Делалось это для «избежания пристрастия» при рассмотрении статей.

Бедность родной литературы по теории искусств и недостаточный собственный авторитет заставляли сотрудников наполнять журнал переводными статьями, похвалами Расину, Мольеру, Корнелю. На каждой странице можно заметить преобладание слов: «великий», «знаменитый», «славный» и т. под.

У сотрудников «Вестника» не было умения разбирать и критиковать произведения в том смысле, как это мы понимаем теперь. Все ограничивалось голословным осуждением или похвалой. Как образчик критики я приведу здесь выдержку из статьи о постановке «Евгении» Бомарше. Критик «Драматического Вестника», останавливаясь на пьесе, прежде всего не сообщает содержания ее. «Мы почли за ненужное говорить о ней — пишет он — если бы она не была одною из первейших причин унижения, в котором видим мы теперь франц. драм. словесность и которое предчувствовал Вольтер при первом появлении сей опасной драмы. — Театр, украшающийся произведениями ве-

ликих людей века Людовика 14-го, представил в первый раз в 1767 г. к удивлению и оскорблению истинных любителей изящного, сию картину разврата, в которой неповиновение к родительской власти, обошщение и даже презрение светских и даже священных законов изображены в самом пленительном виде. Зрители при виде всего этого рукоплещут».

С неменьшим негодованием останавливается журнал на драмах Коцебу. В отчете о его пьесе «Ненависть к людям и раскаянье» есть такие фразы: «Эта пьеса, наполненная вздором, глупостями, мыслями ложными или гигантскими, и выражениями свойственными языку немецкому — игранная в первый раз в собрании небольшого числа людей, скоро заставила бегать в театр всех парижан; нет мужчины, а особливо женщины, которая не ходила бы удивляться сему мнимому мастерскому произведению». Далее автор статьи пробует философствовать: «Толпа любит каррикатуры, Рафаэлева картина или Апполон Бельведерский не могут прельстить ее так, как трактирная вывеска или простой болван».

В каждом номере журнала после серьезных статей читатель встречал или басню Крылова, или эпиграмму, или стихотворения на патриотическую тему или один, два анекдота. Сатиры под-

час были наивны и интересны по отделке. В одной из них рассказывается, как на переводную немецкую пьесу пришел в театр портной - немец с женой и тремя детьми. И всему, что происходило на сцене, удивлялся.

Он видел, как актеры
ели, пили,
Друг друга резали, душили,
Учили разуму, потом
табак курили,
и в миг
Из Индии его в Берлин
переносили.
От всех чудес таких, как
от угару,
Не взвидел света наш
портной
И, как шальной, с детьми
с женой
Садится в пошевни и гонит
бурых пару домой.

Но когда театр уже опустел, то вдруг к сторожу явился портной. Он забыл в театре... не может сказать от конфуза, что именно. Наконец, с усилием говорит:

Я, дети и жена так драмой занялись,

Что лишь за ужином Карлуши не дочлился.

Любопытен анекдот об одном помещике, в собственном театре которого шла «Днепровская Русалка». Актриса, игравшая роль Лесты, по ошибке вышла на сцену раньше времени. Барин — помещик, заметив ошибку, заорал при всей публике: «Долой со сцены! Вот ужо, я тебе, негодница!» И сконфуженная, огорченная актриса ушла со сцены со слезами вместо смеха.

Ф. Бахтияр Мирза...

РУССКИЕ УЧЕНЫЕ В АМЕРИКЕ

Русская эмигрантская масса стала появляться в Америке в начале двадцатых годов. За очень короткий срок русские ученые, музыканты, художники заслужили уважение американцев. Большой вклад в область органической химии внесли своими открытиями покойный профессор И. Остромысленский и ныне здравствующий проф. И. Ипатьев.

Проф. Зворыкин, физик мировой величины, сделал очень важные открытия в области телевидны и оптики (ультра-микроскоп). Инженер Т. Зароченцев изобрел процесс замораживания («З») и является пионером в области холодильного дела.

В. Ф. Заходякин очень много сделал для автомобильного дела в Америке, а проф. М. Ростовцев

Н о в о с е л ь е

признан здесь величайшим историком современности. Проф. Авинков сделал много в области археологии и заведует ныне Питтсбургским музеем.

Проф. Бордин, Сеницын и Петрункевич внесли много ценного в науку о биологии. В авиационном мире видную роль играет полк. А. Северский, а в приклад-

ной ботанике (агрэкономия) славится своими трудами и опытами проф. Бензин.

В американских университетах читают лекции русские профессора, из которых назовем Стрельского, Карповича, Могилат, Тимошенко, Сорокина, Григорьева, Стадниченко и др.

СЛАВЯНЕ В ВОЙНЕ

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «НОВОСЕЛЬЯ» БУДЕТ ПОСВЯЩЕН ПРОИЗВЕДЕНИЯМ СЛАВЯНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И СТАТЬЯМ О СЛАВЯНАХ В ВОЙНЕ И О СЛАВЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ, ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ.

О Б ' Я В Л Е Н И Я

COMPLIMENTS

— of —

Mrs S. JARVIS

17 WEST 67 STREET

NEW YORK CITY

COMPLIMENTS

— of —

COOPER & JOSEPHSON

NEW YORK CITY

COMPLIMENTS

OF THE

CANADIAN
RADIUM & URANIUM
CORPORATION

630 FIFTH AVENUE

NEW YORK CITY

'NOVOSSELYE'
A RUSSIAN LITERARY MONTHLY

Editorial & Administrative Offices:

S. PREGEL - BREYNER,

2 EAST 86 STREET, N. Y. C.

RHinlander 4-1800

„ Н О В О С Е Л Ь Е “
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
под редакцией С. ПРЕГЕЛЬ

Подписная плата:

В Соединенных Штатах: на один год — \$2.75, на шесть месяцев — \$1,50; в Канаде: на один год — \$3.75, на шесть месяцев — \$2,00.

Цена номера в розничной продаже —
30 центов.

Подписка и об'явления принимаются в конторе журнала. Рукописи, посылаемые в редакцию, должны быть переписаны на машинке на одной стороне листа. Непринятые рукописи не возвращаются.

Адрес редакции и конторы:

S. PREGEL-BREYNER, 2 EAST 86th STREET, NEW YORK CITY

Tel.: RHinlander 4-1800

ЦЕНА НОМЕРА

30 ЦЕНТОВ
